

ИВАН САВИН

ТОЛЬКО  
ОДНА ЖИЗНЬ  
1922~1927



НЬЮ-ЙОРК  
1988

ИВАН САВИН

ТОЛЬКО  
ОДНА ЖИЗНЬ  
1922-1927



НЬЮ-ЙОРК  
1988

ONLY ONE LIFE

\*\*\*\*\*

Poems, short stories and essays  
by

I V A N     S A V I N

Copyright © 1988 by L.W. Sulimowsky

ALL RIGHTS RESERVED

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Library of Congress Catalog Card No. 88-90583

Тираж 500 экз.

Составители:

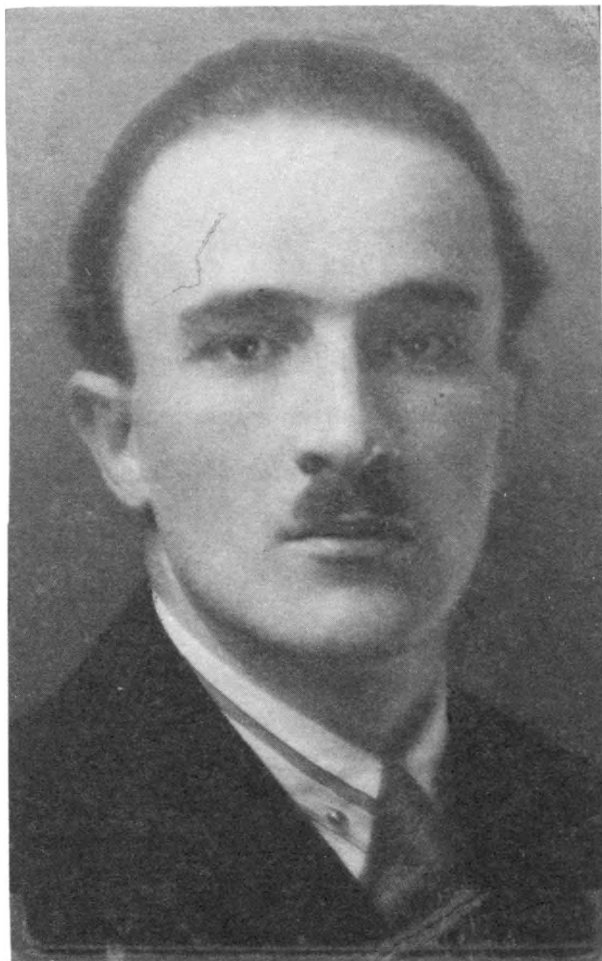
Л.В. САВИНА-СУЛИМОВСКАЯ

Р.В. ПОЛЧАНИНОВ

Обложка художника-академика Сергея Голлербаха

New York, 1988

**К 60-летней годовщине смерти  
ИВАНА САВИНА  
1927 - 12 июля - 1987**



**ИВАН САВИН  
Май 1927 г.**

И стихов Твоих нежный груз  
Как свечу по жизни несу я,  
О Тебе — умершем молюсь,  
По Тебе, не живом, тоскуя.  
Нонна Белавина

## К Ч И Т А Т Е Л Я М

Мне хочется сказать немного об Иване Савине, дать его грустную биографию: чем жил человек, что любил, что пережил.... Остальное все хронология, но без нее не обойтись, так как события страшных лет России, наложили отпечаток на душу, здоровье и мысли человека. Жизнь у нас, у всех одна, а судьба разная....

Хотелось бы познакомить русских людей не только с поэзией, но и с прозой Ивана Савина, которая была рассыпана по эмигрантским газетам и журналам, как яркие камушки....

На закате моей жизни я собрала все, что не пропало в Праге, в Русском заграничном архиве....

Я была не только женой Ивана Савина, я была его другом, секретарем и переводчицей.... Я присутствовала при рождении его стихов, знала их полуродившимися.... Черновики у Савина, можно сказать, совсем не было. Стихи он начинал писать на обертке финских сигарет, а потом садился сразу за машинку, продолжая писать, почти ничего не исправляя.

Самое главное и важное, что Иван Савин был поэтом Божьей Милости, попавшим в русскую смуту, которую он сумел так ярко и глубоко описать. Я молю Бога, чтобы он, умерший 60 лет тому назад, дотронулся как живой до вашего сердца.. Но сознаюсь, что иногда мне делается страшно.... Мне не ясна сейчас наша общая

эмиграция. Она мне представляется густым, полным тумана лесом, в котором растут и крепкие дубы, и сосны, и жидкие березки, и кустарники: есть и прогалинки в густых кустах... И не знаешь, чем дышат за этими кустиками или деревьями... Туман... Поймут ли сегодня люди, как искалеченный юноша-поэт на пороге смерти, до конца бил в один и тот же, дорогой и нам колокол...

Иван Савин (Саволайнен) родился 29 Августа 1899 г. старого стиля, в Одессе, но все детство и юность провел в городе Зенькове, Полтавской губ. Дед Ивана Савина - Йохан Саволайнен, финский моряк, встретил в Елисовеграде русскую гречанку, женился на ней, остался жить в России. От этого брака родился отец поэта, Иван Иванович старший. Когда они переменили свою фамилию на "Саволаин", не знаю, но в России, Иван Савин жил и учился как Саволаин. Приехали отец и сын в Финляндию под фамилией Саволайнен. Эту фамилию носила и я.

По профессии отец Савина был нотариусом, человеком русской культуры. В одной из своих деловых поездок, Иван Иванович старший встретил и без памяти влюбился в молодую помещицу, вдову, которая была на десять лет старше его, и у которой было уже 5 человек детей. Анна Михайловна Волик, тоже не была чисто русской: отец ее был молдованин, из старинного рода Отян. Только мать Анны Михайловны была русская... Бабушка поэта... И это все, что было русской крови у Ивана Савина.

От второго брака родились: Иван Савин, Николай и сестра Надежда (Диля). Вся семья Савина была сметена ураганом революционных событий и гражданской войны. Два старших брата, Михайловские артиллеристы, были расстреляны в Крыму. Им посвящена повесть "7.000 расстрелянных". Коля, пятнадцатилетний мальчик, служивший в Синих кирасирах, был убит в бою, Борис был зарублен под Каховкой красными. Иван Савин попал в плен в Джанкое...

Не уйдя из госпиталя, вольноопределяющийся Иван Савин был бы сразу поставлен к стенке, но уйдя из госпиталя, где сестра сожгла его уланку, он был лансирован замечательным уланом-солдатом, как полковой писарь, и его не трогали, и это спасло ему жизнь.

Несмотря на то, что родители Савина разошлись, и в продолжении шести лет не встречались, живя в том же городе, у восьмерых детей была настоящая, родственная связь и любовь. Дети остались жить в большом доме матери, а к отцу ходили по воскресеньям... Старшие братья учились в Михайловском артиллерийском училище, сестры в гимназии. Надежда в Полтавском институте, Иван учился в гимназии в Зенькове. Иван Савин любил и лелеял воспоминания об этом маленьком захолустном городе, где были две гимназии и две прогимназии. Железной дороги не было, но весь округ состоял из состоятельных помещиков, и у всех детей, почти без исключения, были гувернеры и гувернантки, немки и француженки. Свою "Мадамку" Савин нашел потом в Париже, где она жила, помогая русским, и за гроши давала им французские уроки.



Хотя Иван Савин родился в Одессе, всю свою юность и детство он провел в Зенькове. Многие называют его финно-руссом, но это абсолютно неверно. Он даже не знал финского языка.

Очень жаль, что печатая с трудом, с совершенно истлевших листов "Плен", там масса пропущено и недокончено, а это трагическое обстоятельство наложило яркую печать на весь его духовный облик.

"Человек, переживший все это уже не мог не носить в себе непримиримости и обреченности. Непримиримость заставляла его напрягать все свои силы на борьбу с большевиками. Обреченность придавала этой работе особый характер личной незаинтересованности, чисто идейного, почти религиозного служения." (проф. Даватц).

"Этим объясняется его исключительная скромность. Даже тогда, когда его имя могло европейски прошуметь, он сам захотел и сумел занавеситься и отойти в тень." — пишет о нем Петр Пильский в рижской газете "Сегодня".

"Так случилось и с записками Мальсагова о Соловецком застенке. Эти записки были вынесены на общее внимание трудами Ивана Савина, проредактированы его рукой и имели все основания, чтобы на заглавном листе рядом с Мальсаговым было помещено и имя Ивана Савина. Заграничное узнавание этих ценнейших записок, рассказавших о подлинных ужасах Соловецкого лагеря особого назначения, было достигнуто только благодаря Савину. Потрясающая мальсаговская повесть сразу же привлекла внимание тоже теперь покойного К.Д. Набокова, возникла переписка

о переводе и издании книги на английском языке. Картины советской каторги вызвали шум, успех, имя Мальсагова приобрело известность, но сам Савин скрылся, заслонился, будто убежал и от молвы, и от признания своего открытия и своей большой редакторской работы."

Петр Пильский "Сегодня"

Когда с помощью своего солдата-улана Савин попал в 1921 г. в Петроград, где встретился с отцом, ему пришлось провести одну холодную и голодную зиму, которая отразилась только в нескольких ранних стихах того времени.

Савина с отцом отпустили, т.к. у них были в порядке финские бумаги, и они совершенно легально приехали в Хельсинки, где отец работал на сахарном заводе, а Иван Савин, после пребывания в санатории, устроился на том же заводе сколачивать ящики... Им дали маленькую комнатку с русской печкой и очень снисходительно смотрели на пропуски Ивана Савина на работе. Отец уехал в Париж, и это была наша первая квартира. Тут-же, в этот период работы на фабрике, пришло письмо из России, что его невеста вышла замуж за большевика, хотя ее отец и братья были убиты красными. Пребывание в санатории, конечно, немного сгладило этот удар, но измена любимой девушки оставила большой след, который красной нитью проходит через сборник "Ладонка".

Конечно, жизнь после плена и голода была у нас просто сказочной. Сразу же Савин начинает печататься в местной русской газете - "Русские Вести", где его очень полюбил покойный редактор Г.И. Новицкий, перед своим отъездом в

Америку. Пробыв только короткое время в Финляндии, Савин начинает писать фельетоны, воспоминания, стихи, и сразу же, в свои 24 года завоевывает любовь и уважение всей русской колонии. Наша русская колония была небольшая, но очень теплая и интересная. Савин образовал "Кружок молодежи" мы ставили его пьесу "Там", пьесу "Молодость" (она у меня есть), и устраивали бесчисленные лекции и вечера памяти Блока, Ахматовой, Гумилева, Есенина. Мы жили!.. Был устроен суд над Евгением Онегиным... На одной из встреч кружка, я встретила Ивана Савина... Уйти от судьбы нельзя, и Бог решил соединить жизнь больного, измученного человека с молоденькой, здоровой, любящей литературу и искусство, девушкой.

Кто я такая? Я дочь офицера 1-го финляндского Стрелкового полка, я родилась в Хельсинки, кончила там Александровскую гимназию /уже она стала совместной/... Там на кладбище, где лежит Иван Савин, покоится и вся моя семья. Я - русская - навсегда осталась русской, моей почвой стал русский язык и моя душа сделана из русского языка, русской культуры и русского православия... А в России я никогда не жила... Исключение только два года в Павловском институте, 1915-1917, в Петербурге. Это было закрытое учебное заведение.

Иван Савин начал писать, кроме "Русских Вестей" в Хельсинки, в газете "Сегодня", Рига, "Руль", Берлин, "Новое Время", Белград, "Возрождение", Париж, "Иллюстрированная Россия", Париж, и был представителем почти всех эмигрантских газет. И наконец стал специальным корреспондентом Швеции.

Одно лето мы ездили на Валаам, удивительный по своей красоте-старине, остров, где нам были открыты все архивы, и где мы встретили Вырубову с матерью, и узнали, что Вырубова стала тайной монахиней в миру, только на острове носила рясу. Мать Вырубовой, Танеева, дала Ивану Савину интервью, которое он отправил в самый большой ведущий журнал Швеции. Он был полностью напечатан, но в моем архиве нет никаких следов.

Слава Богу, все было благополучно, оба работали и летом 1926 года мы уехали в Куакалла, к художнику Захарову, который повез нас к И. Репину. Сразу началась теплая, искренняя дружба между маститым художником, милейшим из милейших, и молодым поэтом. У меня висит портрет Репина со следующей надписью: "Необыкновенно красивому Ивану Ивановичу Савину, на добрую память. Илья Репин, 1926 год."

После смерти Савина Репин мне пишет: "Я всегда мечтал, глядя на этого красавца малороссиянина, написать его портрет... Какая невознаградная потеря".

Неожиданно осенью 1926 года телефонный звонок ко мне на службу: "Приходи сейчас-же, иначе я выброшусь в окно." Это был острый припадок депрессии. Дома он на коленях умолял меня не возвращаться на работу, у него был дикий страх остаться одному дома, где он буквально ходил за мной по пятам... Через две недели уговорила отпустить меня на работу. Конечно, он все время лечился.

Писал он всегда и полубольной и здоровый... Будучи здоровым очень любил общество, играл на рояле, рисовал...



У РЕПИНА НА ВЕРАНДЕ  
Лето, 1926 г. Куокалла, Финляндия  
/Слева направо - Г-жа Четверухина,  
И. Савин - И. Репин/

И этот припадок преодолел поэт, пока не настиг последний удар: острый припадок аппендицита и медленное мучительное умирание от заражения крови, после операции. Боли были ужасные... Будучи очень религиозным человеком, он просил меня крестить рану и молиться...

Финские больницы даже частные — ужасны!.. Мне позволили быть две недели ночью у кровати больного, днем я работала. За это время мне удалось получить прелестную квартиру, с окнами в парк, где в пруду водились белые лебеди. Известный парк в Хельсинки Кайсаниemi. Наконец, мне предложили взять больного домой... Квартиру он еще не видел, и приехав домой, плакал от радости. Через несколько дней ему стало хуже, но рядом с кроватью лежал любимый томик Чехова, и он просил меня рассказывать, как мы поедем летом к границе России собирать его любимые цветы ромашки.

В горячую душную ночь, около 4-х утра, Савин нацарапал на листке бумаги "вспрыснуть морфий...доктора". Но было поздно. Укол не помог. Поэт затих и долго смотрел прямо перед собой в огромное окно, куда заглядывали ветки деревьев, потом осенил себя широким крестным знаменем и сказал ясно и тихо: "Господи"...

Это было в пять часов утра, в день Св. Петра и Павла, в 1927 году, в Хельсинки, Финляндия.

И свод небесный будет раздвинут,  
Перед душою, и душу ту  
Белоснежные кони ринут  
В ослепительную высоту. (Гумилев)

Л.В. Савина-Сулимовская



"Всех убиенных помяни Россия,  
егда приидеши во Царствие Твое!!"  
Иван Савин, 1922 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Иван Иванович Саволайнен известен за границей как поэт и прозаик — Иван Савин. В Белграде, в 1926 г. Главным правлением Галлиполийского общества был выпущен сборник его стихов — "Ладонка" с предисловием проф. В.Х. Даватца. Этот небольшой сборник так быстро разошелся, что вскоре стал библиографической редкостью. В США он, вероятно, имеется только в библиотеке Гарвардского университета. Во всяком случае так сказано у Людмилы Фостер в ее "Библиографии русской эмигрантской литературы 1918-1968".

В 1947 г. в Менхегофе (Германия) было мною выпущено на мимиографе второе издание "Ладонки" небольшим тиражом около 200 экземпляров без ведома и согласия ЮНРРА, и наконец, третье издание "Ладонки" с предисловием А. Павлова, в Нью-Йорке журналом Общества галлиполийцев "Перекличка".

Третье издание было дополнено стихотворениями, которых не было в первом издании. Если в первом и втором изданиях было всего 34 стихотворения, то в третьем издании было напечатано 78 (одно из них в двух вариантах) и еще одно стихотворение Александра Дехтерева, посвященное Ивану Савину.

Не только второе, но и третье издание быстро разошлись, не успев попасть в исследовательские и университетские библиотеки, и потому они не упомянуты в библиографии Л. Фостер.



Иван Савин стал хорошо известен зарубежным читателям не только благодаря трижды издававшейся "Ладонке", но и благодаря разным антологиям эмигрантской поэзии, журналам, газетам и отрывным календарям, в которых многократно перепечатывались его лучшие стихи.

Иван Савин был не только замечательным поэтом, но и хорошим прозаиком. Его проза перекликалась с его стихами. В ней была та же любовь к России и сочувствие к русскому народу.

В аллегорической повести "Лимонадная будка" Иван Савин рассказал о трагической судьбе бездомного эмигранта, в повести "Правда о 7000 расстрелянных", посвященной памяти братьев Михаила и Павла, о трагедии белых воинов, первых начавших вооруженную борьбу с международным коммунизмом, в автобиографической повести "Плен" описано то, что пережил в плену у красных не только сам Иван Савин, но и многие тысячи белых воинов, попавших живыми в руки большевиков.

Можно только удивляться, как Иван Савин, переживши все мучения, издевательства и унижения смог дать совершенно объективную картину Крыма в 1920 г. после прихода туда Красной армии. Среди победителей были плохие, были средние и даже хорошие люди. Такой объективностью Иван Савин выгодно отличается от многих эмигрантских писателей, писавших в 20-е и 30-е годы.

После появления сборника стихов — "Ладонка", Иван Савин предполагал выпустить сборник прозы под названием "Книга былей". Преждевременная смерть

помешала Ивану Савину осуществить этот план, но его вдова — Людмила Владимировна решила в связи с 60-летием со дня смерти выпустить сборник его прозы, стихов и откликов в печати на творчество Ивана Савина и назвать этот сборник "Только одна жизнь".

Далеко не все произведения Ивана Савина смогли у нас сохраниться. После смерти Ивана Савина его отец передал весь архив сына Русскому заграничному архиву в Праге. После конца войны чехословацкое правительство подарило этот архив Советскому Союзу и теперь, кроме нескольких советских специалистов по эмигрантским делам, никто к нему не имеет доступа.

Иван Савин получил от Господа Бога много талантов. Он был не только поэтом и прозаиком, но и художником, однако Господь Бог дал ему очень мало времени для творчества — всего каких-то пять лет, от 1922 г, когда он вместе с отцом смог вырваться из Советской России, до 1927 г., когда он скончался от пережитых в гражданскую войну, а особенно в красном плену, болезней и лишений.

В этот короткий срок Иван Савин стал в кругах белого воинства одним из самых любимых поэтов. Выстрадав свою поэзию и прозу, Иван Савин писал о том, о чем думало и чувствовало не только его поколение, но и дети и внуки рыцарей Белой идеи, став вместе со своими четырьмя братьями, погибшими в Белой армии, и двумя скончавшимися в годы войны сестрами, символом Белого воина.

В сборник "Только одна жизнь" вошли случайно сохранившиеся повести Ивана Савина. Это все документы времени — свидетельские показания, дающие нам возможность понять дух времени.

В повестях "Дроль" и "Пароль" говорится о годах Гражданской войны, а в повестях "В мертвом доме", "Трое", "Там" и "Трилистник" описываются первые годы советской власти.

В трех повестях "Новые годы", "Моему внуку" и "О мещанстве" Иван Савин как бы подводит итог всему пережитому, сравнивая жизнь до революции с тем, что эта революция принесла России.

После всего, сказанного про Ивана Савина Буниным, Даватцем и другими, трудно сказать что-то такое, чтобы не впасть в повторение. Позволю себе только отнести к самому Ивану Савину то, что им было сказано про генерала Корнилова:

Мы и живые безжизненны,

Он и безжизненный жив.

Р. Полчанинов

Примечание: В сборнике "Ладонка", изданном в Нью-Йорке в 1958 г., говорится в предисловии, как о втором издании, хотя оно было третьим.

Р.П.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ОЧЕРКУ "ПЛЕН"

После отхода Русской Армии из северной Таврии, 3-ий сводный кавалерийский полк, куда входили, в виде отдельных эскадронов, белгородские уланы, ахтырские уланы и стародубские драгуны, был назначен в резерв. По дороге в тыл, несколько человек солдат 3-го полка, в том числе и я - от уланского эскадрона - были посланы за фуражом на станцию Таганаш.

Когда отряд, под начальством и с людьми ротмистра Прежславского, возвращался к месту стоянки полка, я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был, с разрешения г. ротмистра, остаться по дороге в одной из немецких колоний, название которой уже улетучилось из моей памяти. Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в джанкойский железнодорожный (2-ой) лазарет.

После одного из приступов я узнал от санитаря, что Перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я ни в какой степени не мог: кроме меня, в белой Армии служило еще четыре моих брата - младший из них, как оказалось впоследствии был убит в бою с красными под Ореховом, в июле 1920 г., второй пал в бою под ст. Ягорлыцкой, в феврале 1920 г., двое старших были расстреляны в Симферополе, в ноябре 1920 г. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог: лазарет в целом, почему-то эвакуирован не был.

Ожидалась отправка последнего поезда на Симферополь. С помощью санитаров я и мой сосед по палате сели в товарный вагон. Через два часа все станции к югу от Джанкоя были заняты советскими

войсками. Поезд никуда не ушел. Нам посоветовали возможно скорее возвратиться в лазарет, где встреча с красными была бы все же безопаснее, чем в вагоне. Сосед идти без посторонней помощи не мог (раздробление кости в ноге), я буквально дополз с вокзала к лазарету — шагов четыреста всего. Посланные санитары в вагоне соседа моего не нашли. На следующее утро красные заняли Джанкой и разбили ему голову прикладом, предварительно раздев.

Первыми ворвались в Крым махновцы и буденовцы. Их отношение к пленным можно было назвать даже в некоторой степени гуманным. Больных и раненых они вовсе не трогали, английским обмундированием брезгали, достаточно получив его в результате раздевания пленных на самом фронте. Интересовались они только штатским платьем, деньгами, ценностями. Ворвавшаяся за ними красная пехота — босой, грязный сброд — оставляла пленным только нижнее белье, да и то не всегда. Хлынувший за большевистской пехотой большевистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже вшивой красноармейской гимнастеркой, только что милостиво брошенной нам сердобольным махновцем.

Приблизительно через неделю меня, вместе с другими еле державшимися на ногах людьми, отправили в комендатуру "на регистрацию". В комендантском дворе собралось несколько тысяч пленных в такой пропорции: четыре пятых служивших когда-нибудь в красных рядах, одна пятая — чисто-белых. Я принадлежал к последней категории, почему и был избит до крови каким-то матросом в николаевской шинели. Сперва нас думали опрашивать,

но это затянулось бы на месяцы (тысячи пленных все прибывали с юга). В конце концов, составив сотни, нас погнали на север.

## I

### ПЛЕН

#### Джанкой

По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока.

Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны — много, тысячи, миллионы буро-красных вагонов. Когда бесчисленные колеса подкатывались к краю кровати и свисали вниз дребезжащей гусеницей, Наполеон наматывал их на шею, как нитку алых бус и кричал, топая ногами в огромных галошах:

— Вы, батенька мой, опупели, вы совсем опупели...

Наполеон шагал по одеялу, звенел шпорами из папиросной бумаги, просачивался сквозь серую шерсть, таял, и из пыльной груды вагонов выползала Веста — охотничья собака старшего брата.

У Весты длинный язык, со скользкими пупырышками, пахнул снегом, водными лилиями и еще чем-то таким, от чего еще сильнее становились мои руки под одеялом. Собака лизала мне подбородок, губы, нос, волосы, рвала подушку, лаяла...

Потом Веста рассыпалась рыжим дымом, таяла, и у кровати появлялось длинное белое пятно с красным крестом наверху.

Пятно наклонялось надо мной, дыша йодом и выцветшими духами, жгло лоб мягкой ладонью, спрашивало:

— У вас большой жар, милый? Да?...

Так шли часы, дни. Может быть, было бы лучше, если бы очередной приступ обрезал их тонким горячим ножом. Не знаю. Может быть!

Когда пугливая неуверенная мысль, впервые после долгого бреда, промыла глаза и осеннее солнце запрыгало по палате, у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно-глупые слова:

— Перекоп взят!

...Еще в конце, даже в начале сентября в северной Таврии наступили такие холода, что из озябших пальцев выпадали поводья. Еще в сентябре, перебрасываемые с одного фронта на другой, мы жгли по пути костры, поднимали воротники шинелей и часто, чтобы согреться, вели коней в поводу. Теперь, в последних числах октября, вечер был необычайно свеж. Рельсы поблескивали не то росой, но то инеем. Наверху, в спутанном клубке холодных облаков, плыла совсем северная луна — бледно желтая, с затушёванными краями.

Джанкой — так похожий на еврейское местечко Юго-Западного края, не будь в нем чего-то татарского, — спал или притворялся, что спит, и в этом обычном для периода безвластия безмолвии было что-то зловещее, жуткое. То и дело, отдыхая у серых стен, я старался не уронить из памяти одного:

— Надо поскорей добраться до лазарета и сказать, чтобы за донцом послали сани-

тара... Он лежит в том же вагоне... Ноги распухают, самому ему не подняться...

Но как вспомнить дорогу? Как мы плыли тот раз? Я вглядывался в холодную темень — и ничего не видел и не понимал. В глазах вертелись огненные колеса, редкие деревья, заборы, крыши сливались в серое пятно.

Когда я остановился на небольшой площадке, окруженной какими-то казенного типа сараями, и думал: теперь, кажется, направо...вон туда, где трава... — сзади показался разъезд из пяти человек. Кони осторожно ступали по сбитой мостовой, слышался говор. Я прильнул к стене, покрытой тенью колодца, — разъезд проехал мимо, потревожив влажную пыль. У переднего на длинном ремне болтался большой маузер, до бровей спустилась острокопечная шапка. Задний сказал, зевая:

— Никого тут уже нету, товарищи. Айда обратно! — и круто повернул вороного конька...

Только к ночи я попал, наконец, в лазарет и лег в свою кровать, охваченный шестым приступом. Парня с глуповатым, но ехидным лицом не было — он ушел "добывать" табак и сахар. За донцом послали другого санитаря — он не нашел его. Отложили до утра.

А утром, когда Джанкой уже был занят красными, донца нашли в вагоне с проломленной прикладом головой и раздетого догола. Окровавленное лицо его было кощунственно огажено.

Не пришел больше Наполеон с двумя желтыми пуговицами вместо глаз, с длинной цепью бурых вагонов, не шевелила пупырчатым языком Веста, не наклонялось



надо мной белое пятно с красным крестом наверху. Ничего. Только серая, тягучая липкая пелена плыла перед широко открытыми глазами, да изредка прорывались сквозь нее обрывки чьих-то фраз и хмурые шарик солнца — осеннего, чужого.

— Потому, как я красный командир, — сказал кто-то, открывая окно, от чего струя холодного воздуха колыхнулась в палате, — то мне издеша недолго валандаться. Другие прочие, может, в расход, а я — роту даешь! Послужим... В углу засмеялись? Кажется, Осипов?

— Как же ты — командир, а белым в плен сдался? Подштаников не запачкал? Сморкач ты, а не командир...

Ротный, беспрестанно икая, ответил что-то громко и раздраженно. Взвизгнула за окном гармоника. Прогредело что-то... Как будто броневик. Я приподнялся, вслушиваясь, а серая липкая пелена обвиняла голову, наливая ее ноющим звоном. Опять лег, тревожно осматривая высокого старика, подходившего ко мне с записной книжкой в трясущихся руках.

— Кто это? — подумал я. — Беспокойные черные глаза, шрам на правом виске... на темно-синем халате белая дорожка слюны... Идет, подпрыгивает... Кто это? Боже! Я не помню...

Старик погладил спинку моей кровати и залепетал скороговоркой, задыхаясь и брызгая слюной:

— Я вас записал... вот сюда... придут они — я скажу, что вы... вы хотели удрать... а поезда не было... Поезда... Не просите... таковы законы, не имею права... не просите!

Бессмысленно улыбаясь, я долго смотрел на прыгающие в бреду черные глаза...

Полковник Латин... Да, полковник Латин.

— Дайте мне воды, господин полковник... Вот, на столике... Глупости — записывать... Вот... Мне трудно самому... Пожалуйста!

Латин обнял обеими руками графин, уронил его на одеяло, сел на пол и вдруг заплакал, собирая с одеяла воду записной книжкой.

— Задержать противника, а у меня люди... Я им: в цель!.. Но поймите... Задержать, а самурцы...

К ночи он умер — сердце не выдержало.

Высокой ли температуры? Думал ли о красной мести?

"На тонкой паутинке колышется сердце человеческое. Качнешь сильнее — и нет его..."(Иннокентий Анненский).

Когда увозили Латина в покойницу, вздыхали сестры и сдержанно покрикивал доктор, резко похудевший в эти дни, в палату вошел красный офицер, изысканно одетый. Это был первый визит победителей со дня занятия Джанкоя.

Сразу все стихло. Санитары опустили тело Латина на первую попавшую койку. Старшая сестра — я никогда не забуду вашей удивительной ласковости — нервно оправила косынку и прижала к груди руку — маленькую, пухлую, с детскими пальцами.

— Старший врач джанкойского...лазарета, — сказал доктор, для чего то комкая историю болезни умершего полковника.

Офицер беглым взглядом окинул палату. Необыкновенно красивое, немолодое уже, с тонкими чертами лицо было замкнуто и спокойно... На зеленой тужурке с орденом красного знамени под нашивным карманом, отчетливо выделялась кисть

руки изящного рисунка. Может быть, гвардеец... — подумал я горько.

— Ага, хорошо... — сказал офицер, слегка картавя, — Кто у вас здесь?

— Пленные...

— Белые, красные?

— Собственно говоря, они все белые...

— доктор с досадой кашлянул, — то есть, я хотел сказать, что все они служили у Врангеля, но некоторые раньше были в вашей армии.

— В какой?

— В красной армии...

— Почему же "в вашей"?

— Простите, я ошибся.

— Ага... хорошо. Федор, неси сюда пакет!

Упитанный красноармеец в кавказской бурке, с серебряным кинжалом, но в лаптях — (...Господи! — вскрикнул в углу Осипов) — принес из коридора большой сверток, стянутый винтовочным ремнем, и почтительно удалился...

— Вот здесь, — сказал офицер, сухо глядя на доктора, — папиросы, сахар и сушеные фрукты. Раздайте поровну вашим больным. Всем без исключения — и белым и красным и зеленым, если у вас таковые имеются. Я сам бывал в разных переделках, так что знаю. Все мы люди... Прощайте!

Круто повернулся на каблуках и направился к дверям, по дороге остановился у безнадежно больного туберкулезом ротмистра Р. и спросил с безучастной сердечностью (бывает такой оттенок голоса, когда кажется, что движет не чувство, а долг, к которому хочется следовать, обязанность, воспитание):

— Ты в какой части был, братец?

— В той, которая с удовольствием повесила бы тебя, красный лакей, лизоблуд совдепский. Пошел вон!

Офицер невозмутимо пожал плечами.

— Не нервничайте, это вам вредно!  
И вышел.

Доктор принялся развязывать пакет. Больные обступили судорожно кашляющего, крича, смеясь и ругаясь. Особенно неистововал бывший красный командир:

— Хоть он, видать, и царский офицер, а душевный человек, с помощью к нам пришел. Надо тоже понятие иметь, сыр ты голландский! Чего окрысился так? Думаешь, может? Все одно, не сегодня так завтра сдохнешь!

А я?... Какая то скрытая, мучительная правда почудилась мне в ответе ротмистра. Что-то большее, чем раздражение обреченного было в этих злых словах, в этом презрении полумертвого к обидной милостыне врага, когда-то бывшего, быть может, другом.

По приказу джанкойского коменданта — направлять в его распоряжение всех выздоравливающих — из лазарета ежедневно выбывало по несколько еле державшихся на ногах человек, которых специально присланный санитар отводил на "фильтрацию" в особую комиссию при комендатуре.

Фильтрация заключалась в коротком допросе, долгом истязании, голодовке, заполнении анкет и распределении опрошенных и избитых по трем направлениям: в ряды красной армии, преимущественно пехоты, в Мелитополь — для дальнейшего выяснения личности (захваченные в плен на юге Крыма направлялись в Симферополь) и на полотно железной дороги — под расстрел.

Судя по заслугам перед революцией.

Дней через пять после визита сердобольного военспеца из лазарета были выписаны трое: крестьянин Харьковской губернии Петр Ф. доброволец и потому очень

беспокоившийся за свою судьбу, поразительно мягкой души человек, развлекавший весь лазарет мастерским исполнением известной малороссийской песни на слова Шевченко: "Рече тай стогнэ Днипр широкий" – житель города Ставрополя, Поликарп Кожухин, за последние шесть лет носивший мундир семи армий: – Императорской, красной, армии адмирала Колчака, Добровольческой – генерала Деникина, петлюровской, польской и Русской армии – ген. Врангеля, не считая кратковременного пребывания в казачьих повстанческих отрядах и у Махно. Он был заразительно весел, уверял нас, что "жизнь есть колбаса, только надо уметь есть ее с обоих концов сразу" и бодро смотреть на будущее.

Третьим был:

"Военнообязанный Сав...ин Иван, родившийся в 1899 году, без никакого документа, говорит – утерянный, brunetистый, большого росту".

Эту вздорную сопроводительную записку помню до сих пор: на оберточной бумаге, засаленая, с неразборчивой, как будто сконфуженной подписью нашего доктора и крупными каракулями под ней:

"Писал и зверностью верно удостоверяю каменданский санетар Гаврилов", в левом углу печать лазарета с двуглавым орлом и короной...

Уходить из лазарета, сразу ставшего близким, уходить на расправу распоясавшей черни было невыносимо тяжело, да и не исключалась возможность седьмого приступа – по-прежнему остро болела голова. Я жадно, глубоко, искренне жалел о том, что остался жив, и, прощаясь с сестрами, наполнявшими мне карманы провизией и деньгами (некоторое время врангелев-

ские ассигнации еще шли в Крыму, фунт черного хлеба на них стоил 250 рублей, советскими - 150) я сказал стыдливым шепотом:

- Если бы у меня был револьвер или яд какойнибудь... Никогда не был трусом, но погибнуть в бою, это одно, а в чека...

Петр Ф. переложил с одного плеча на другое свой походный мешок.

- Сегодня тридцать человек на рельсах ухлопали. Былы, кажут, здорово.

Старшая сестра отвела меня в сторону и, перекрестив, до боли крепко сжала мне руки.

- Будьте тверды! - сказала она строго, почти сурово. - Сейчас Вы еще больны и потому растерялись. Потом стыдно будет... Не надо! Я не буду совсем уверять вас, что наше положение не опасно. Вот вы и не брились уже сколько недель и фуражку вашу уланскую я на кухне сожгла, нарочно не умываетесь а все таки опытный глаз сразу заметит - "буржуя". И все же надо приложить все усилия, чтобы остаться в живых. Понимаете - все! Никому не станет лучше, если погибнете и вы. Вы еще нужны семье и, - она осторожно оглянулась, - белой России. Идите, бедный мой мальчик!...

Ее матерински добрые, ласковые, ставшие вдруг круглыми, глаза налились терпкой болью.

- Эй, братишка, скидывай шинель!

Мы все с недоумением оглянулись на нашего "санетара", но и он, видимо опешил перед этим грозным окликом махновца, пересекшего нам дорогу у самого лазарета.

Я злобно снял шинель и подал ее всаднику, - разговоры все равно были бы излишни. Махновец, не торопясь надел ее, туго затянул красным кожаным поясом и бросил мне взамен свою - дырявую, без пуговиц.

- Ну, братишка, не взыщи, ты в тыл пойдешь, а мне еще служить, как медному котелку.

Сполз с седла и протянул мне несколько смятых бумажек:

- Вот тут три тыщи, возьми. Твоя то шинель получше моей, так чтоб без обману, по-хорошему чтоб. У меня грошей куры не клюют, а тебе понадобятся. На хлебушку, што ли...

Тронулась кудлатая гнедая лошадка, помахивая огромным алым бантом на хвосте. Махновец скрылся за углом.

- Ще один худый знак, - сказал Ф. - Офицер и этот... Колы значала добре, значит, пуля по нас плачет.

Кохухин закрыл один глаз и высунул язык, немилосердно гримасничая.

- Та неужто? И-их, Боже мой! И на кого ты нас остави-и-ил! Знаешь, что я тебе скажу, галушка ты харьковская: не скули. Главное - не скули! Ты, видать, в первой в такую кашу влип, а мне это все равно что наплевать. Я и одежду всю и часы наручные в лазарете оставил. Потому привычный уже к этому - разов тридцать... в плен попадался... А дней через три, когда разденут всех, как липок, я - к сиделке Соньке: одежду даешь, часы даешь! Во какой я братцы, артист! Как с гуся вода. Но между прочим, храть чевой то захотелось. Сав..ин!

Он толкнул меня в локоть. Я шел рядом с ним, впереди "санетар", сзади харьковец, - я глубоко дышал от усталости и с внимательным, хотя и не совсем радостным любопытством осматривал непривычную мне картину: плетущиеся к югу обозы, море красных пятен, извилистые провалы

в грязных джанкойских домиках, густую сочную ругань на каждом шагу, группы бесцельно шатающихся красноармейцев у комендатуры — раздевать уже было некого. На бревнах, кирпичах разрушенных обстрелом зданий и просто в сипло чавкающей грязи расположились тысячи пленных в одном белье, а часто и без него. На многих лицах я заметил ссадины, кровоподтеки, багрово-синие опухоли.

Было бы неверно сказать, что картина эта произвела на меня потрясающее впечатление: Слишком притупились нервы в эти безысходные дни... Жизнь шла мимо них, ненужная в своей звериной наготе. Не потому ли мне так упрямо, так жадно хотелось умереть?

— Ну? — проронил я, замедляя шаг. — Что вам, Кохухин?

— Ты ж не забудь, что я говорил-то, — сказал ставрополец вполголоса, чтобы не услышал санитар. — Нахрапом лезть на них, сволочей, ни в коем разе не идет. Хорошо бы слезу подпустить, да ты, я вижу, не артист и нутро у тебя панское. Вот я, так усякого чекиста проведу. Пропади я на этом месте! Полячка, та любит гонор, а у белых на бессознательности выедешь. А эта шпана перво-наперво начинает с панталыку, т.е. с толку сшибать. Такую, стерва, комбинацию загнет, что сразу засыпишься. Так ты смотри в оба!

— Хорошо...

— Главное, чтобы на каждый вопросец у тебя ответ был. На каждый — где был у первой половине сентября девятнадцатого года? Сколько годов и дней бабе твоей, ежели женат? По какой такой причине тебе советская власть ндравится? Сколько сол-



дат было в твоей части, зачем так мало, али много? Я тебе говорю — усе надо знать. Меня в чеках одиннадцать раз допрашивали. Чуть замнешься — пиши пропало!

Он дернул меня за рукав и закричал с легким хохотком:

— Смотри, смотри! Петька-то наш!

Ф. отстал шагов на двадцать, сидел на ящике из-под консервов и растерянно улыбался. Рыжий красноармеец стягивал с него сапоги, два других спорили из за хорошего, на заячьем меху полушубка харьковца. Какой-то матрос сорвал с него шапку и надел ему на голову ведро с незастывшей известью...

— Каюсь, — засмеялся и я. Особенно тогда, когда харьковец присоединился к нам, весь в липких струйках извести.

В комендантском дворе стояли две разбитые кухни, у которых невероятно толстый человек, тоже из пленных, записывал вновь приходящих.

Зачем? Так и осталось невыясненным. Говорили, что по спискам будут давать какую то бурду и четверть фунта хлеба в день до отправки в красную армию, в Мелитополь или на полотно. За четверть суток своего сидения в Джанкое я не получил ничего кроме ударов от рук до прикладов включительно.

У левой кухни записывали "белокрасных" т.е. уже служивших когда либо в советских рядах: там суенилось несколько сот человек. У правой — был летучий штаб "чисто-белых"... Человек двадцать, приблизительно...

Я вспомнил советы ставропольца и спокойно подошел к "штабу".

— Фамилия, имя?

Тщательно продумав все могущие быть мне предложенными вопросы, заранее составив свою биографию, ложную от начала до конца, я еще в лазарете решил, что изменять фамилию и имя не имеет никакого смысла — вряд ли возможно, что все десятки тысяч пленных были отправлены по месту жительства для детального выяснения их прошлого. Кроме того, если удастся остаться в живых, я какнибудь сплшусь со своими и смогу получить документы, нужные для "драпа".

— Сав--ин Иван.

— Чин, часть? — спросил толстяк.

— Младший писарь четвертого пехотного полка, — ответил я, не моргнув глазом, не будучи, впрочем уверен, что такой полк существовал когда-нибудь.

"Начальник штаба" потер свой заплывший жиром живот, чуть прикрытый сиреневыми, совершенно изодранными кальсонами.

— Такого полка, кажется, не было. Я в интендантстве служил и знаю. Хотите третий конский запас, отдела ремонта армии? Вполне нейтральный. Если для допроса вам нужно знать фамилии начальства, я скажу. Командиром запаса был полковник Варун-Сек...

— Спасибо! — сказал я, чуть дотрагиваясь до козырька. — Эту часть я хорошо знаю. Так и пишите. Только, пожалуйста, младшим писарем — я на пишущей машинке когда-то писал...

Толстяк кончил писать и слез с кухни.

— Скоро вас, вероятно, разоблачат. Только не спорьте с ними! Посмотрите, какой я пихон. Прямо из модного журнала.

Только хризантемы в левую ноздрю не хватает...

Он вскрикнул и поднял ногу: на голой ступне блеснул небольшой осколок стекла.

— Пьянствует здесь эта матросня проклятая. Бутылки бьют, мерзавцы!

Раздели меня не скоро, а сию же минуту. Шинель и танки взял наш "санитар" — вместе с хлебом, деньгами и табаком. Кожаную безрукавку с трехэтажным ругательством сорвал какой-то кавалерист с подковами вместо шпор. Носки, брюки и кальсоны угрюмо потребовал хмурый тип в николаевской шинели.

Минут пять я переходил из рук в руки бесслезно плача о своей собственной беспомощности, от грубого облапивания меня сотнями рук, от дикого хохота визжащей, хлопающей, нетрезвой толпы...

## II

### Глава из книги

### ПЛЕН

Через весь огромный двор в комендатуре тянулась цепь пленных. Со всех сторон, их то и дело ошупывали сотни рук, раздевая, выменивая новое обмундирование на поношенное, на рвань, жадно выскивая в карманах деньги и табак.

За полчаса я переменял шесть головных уборов: взамен лазаретной фуражки "санитар" бросил мне шапку, сильно потертую, но теплую. Шапкой прельстился комендантский часовой, человек, по-видимому общительный и очень образованный — каждую фразу он уснащал словами "сослагательное наклонение", после чего, артистически сплюнув, вспоминал своих родственников, до родной дочери включительно.

Его обступала тесным кольцом толпа красноармейцев, встречая хохотом рассказы о том, "как надо ... мать, всякую буржуазию понимать и сослагательным наклонением крыть, чтобы" ... — дальше шла рифма.

Слушатели называли его почему-то "то есть профессором" и "чертовым пупом", но не злобно, а ласково, даже любовно.

"То-есть профессор" предложил моему вниманию буденовку с прожженным верхом, её заменила безкозырка в сгустках крови, безкозырку — цилиндрикообразная шапка из вагонного плюша. В конце концов, на моей голове красовалась продырявленная

тиролька Бог весть как сюда попавшая. Вероятно она мне очень шла так как прогуливавшийся взад и вперед "комендант" в сиреневых кальсонах, восхищенно сказал мне:

— Первый приз за красоту безусловно принадлежит вам... Как жаль все таки, что ваше изображение не сохранится для потомства.

Я выдавил из себя что-то вроде улыбки и вздрогнул от холода. Вдоль дырявых заборов пронесся резкий ветер, ледяными иглами пробежал по голым ногам. Прижавшись всем телом к соседу, совершенно нагому калмыку, я решил, что кожаную черную куртку под рубахой не заметят, не снимут... Но они заметили.

Чья-то рука сбоку, сбив с головы фуражку, медленно поползла по моей спине и остановилась. Кто-то радостно сказал:

— Ишь-ты, куртка! Скидывай, сволочь!

Я снял рубаху. Огромного роста парень в балыке поверх студенческой фуражки сорвал с меня куртку.

— Ишь ты, новая! А не офицер ты, часом?

— Нет, не офицер, писарь.

К нам подошли трое из числа аудитории, "то-есть профессора". Один из них, приложив руку к козырьку и крикнув "здравия желаю, господин Врангель!" — предложил парню в башлыке:

— Микитка, звездани яво по зеркалу!

Микитка звезданул. Я упал на калмыка, из носу пошла кровь. — Смотри, братва, — слюни пустил! Понравилось!

Микитка звезданул еще. Удар пришелся по голове. Я сполз с дрожащего калмыка в грязь, судорожно стиснул зубы. Нельзя было кричать. Крик унизил бы мою боль и

ту сокровенную правду, которой билось тогда сердце, которой бьется оно и теперь. Мощным движением руки красноармеец в студенческой фуражке поставил меня на колени. В толпе раздался голос:

— Собака, и та чувство имеет. Што-ты, подлюга, больного человека бьешь? В чекушке видно, работал.

Микитка закурил, постучал папиросой по серебряному портсигару.

— Тебя не..., так ногами не совай. Ишь-ты, аблокат какой нашелся! Довольно с него и двух разов! Довольно! По мордасям больше бить не буду. А вот крест на нем золотой имеется, так это нам пригодится, в очко сыграем.. Снимай крест!

Я неподвижно стоял на коленях, качаясь от слабости и боли. Рядом со мной ежеминутно вздрагивали ноги калмыка, в сочившихся гноем рубцах. По-прежнему смеялась, стонала и пела толпа.

Микитка сам снял с моей шеи цепочку. Когда ее мелкие холодные кольца коснулись висков, густая, почти черная капля крови, скатившись по губам, упала на крест.

"Твой крест, мама..."

— Честь имею явиться, Поликарп Колюхин, хвельдфебельша джанкойской армии!

Я с трудом поднял голову и увидел ставропольца. На нем была измазанная сажей юбка с синими разводами. На свисавшей лохмотьями гимнастерке виднелись нарисованные химическим карандашом унтер-офицерские погоны.

— Можно сказать, в чин произвели, сукины дети. Ты, грит, видно, фельдфебелем у белых был, так теперь побудь хвельдфебельшей. И, между прочим — по морде! Сказано, шпана. Только, слава те Господи, — как с гуся вода. Потому как

морда у меня луженая, в одиннадцати чеках посидевши. И очень просто говорю...

Он вдруг замолчал и долго меня рассматривал.

— Оно видно, и тебя в чин произвели. Кровя из тебя так и хлещет. На, оботри хоть.

Он оторвал подол юбки и подал мне.

— Как же это тебя так, а? Ты бы митингу им открыл: товарищи, как из белых то, извините за выражение, каксь, пропади я на этом месте! И чтоб у меня живот опух! И слезу агромадную пустил бы... Во, братцы, из нутра, можно сказать, и очень просто. Что-ж они говорили тебе, а? Ничего не говорили... Одним словом — в зеркало? — Одним словом...

Начало темнеть. Одна за другой, как огненные слёзы, выступали из тьмы звезды. У вокзала изредка раздавались выстрелы и тогда казалось, что предсмертный хрип убитого, вместе с эхом плывет над притихшим городом.

— Стреляй, стреляй, дурья твоя голова, — сказал, помолчав, Кокухин. — Пропишут и тебе кузькину мать, не сумлевайся! — Он зевнул, почесываясь. — Охо-хо, дела, да и только. Но, между прочим, вздохнуть не мешает. Душа у меня должно, не на месте: как кто по роже меня заедет, чичас спать хочу. Не на чем, вот что.

Он обошел весь двор и принес в подоле юбки обрывки шинелей, куски грязной ваты, несколько пар рваных брюк и френчей, мешки, солому. Все это было обильно усыпано вшами.

— Вша сон дает, — сказал ставрополец, укрывая меня рванью. — Ты плюнь на все на свете и спи! Утро вечера мудренее,

баба девки ядренее. — Через три минуты Кожухин храпел. Проходили мимо пленные: ярко выделялись в полутьме голые ноги и спины. По всему двору, на улице, у облупленных стен комендатуры запылали костры — в консервных жестянках "белобандиты" разваривали вымоленные у красных сухари. Справа, у каменного сарая, на сорванной с петель двери полулежал высокий юноша. Завернувшись в рогожу как в тогу, он сказал кому-то: — "Это же свинство, Володька... Ты уже всю папиросу выкурил. Это не по-гусарски! Хоть на одну затяжку оставь, Володька!"

На противоположном конце двора, где стоял "то-есть профессор" зашумели. К воротам хлынули тени. Сквозь разноголосую волну криков прорвался выстрел... На миг двор притих, затем у ворот снова зашумели. Ставрополец проснулся и вскочил на ноги. Не иначе, как бьют кого... Пойти посмотреть. А вдруг — ихних... Оказалось, что наших... Два матроса нашли в обмотках пленного капитана погоны. В носке было спрятано кольцо.

— Их было двое, матросов-то, — рассказывал Кожухин, — ахфицер один и кольцо — одно. Расстрелять! Расстрелять, а кольцо кому? Ну, и порешили, чтоб без обману: поставили его — капитана то, к забору и пагон прикололи... Условие, кто попадет в пагон, получит кольцо. Стреляли оба, а дырка одна. — А ахфицер кончается... Кто мазу дал, неизвестно... а камень в кольцо... во бульянт! Спорили они оба, спорили, сапоги вырываячи, порвали — все одно: дырка в пагоне одна. Позвали коменданта, чтоб, значит, размирил своих братву, а комендант — не дурак — возьми



и скажи: это, грит, не брульянт, а самое что ни есть стекло. И, грит, военный трофей. Положил в карман и ушел. А матросы, сапоги разодрали, в капитановы штаны и уцепились...

Он долго и со вкусом рассказывал... Только под утро, бросая вшивую вату в костёр, ставрополец сказал, ни к кому не обращаясь:

— Штаны носить можно, обменять на самогон. А жизнь на кой ляд теперь? Дешевле пула стала.

До какого раскаленного ужаса должна была дойти жизнь, чтобы даже эта бесшабашная душа дрогнула?!

### III

#### ПЛЕН

...Косой сноп ноябрьской зари неярко мигал в разбитых стеклах ларька, приплюснутого к каменному забору. Замысловатые пласты тумана шли медленно на запад. Весь комендантский двор, все прилегавшие к нему улицы, весь стремительно ограбленный Джанкой, были залиты морем пленных. Невидимая рука гнала этот поток полуголых людей к длинному, похожему на гигантский гроб, зданию комендатуры.

Сидя на стертых ступеньках крыльца я искал родных, друзей в беспрестанном человеческом прибое, омывавшем ожесточенно грязно-желтые стены "гроба". Глаза мои сразу же отличали "бело-красных" от "чисто-белых". Грань слишком явную между теми и другими ловил даже мимолетный взгляд. Первые, когда их раз-

девали, почесывали затылки, отвечали порой льстивым смешком, порой легкой бранью, в меру пересыпавшей недоуменные вопросы:

— Як же так, товарищи? Мы-ж нэ по свой воли к Врангелю перекинулись. Нам генералы, простить за выраженье, головы затуркалы — мы и пишлы воивать. Шожь вы, товарищи, робытэ? В бумажках с юрыпланов було усем обищано, що никого раздэвать нэ будут, а вы, товарищи, последние штаны сдираете...

Когда их били, они кровь со своих лиц, вытирали сконфуженно-весело, соглашаясь, что нельзя же человеку, да еще победителю, отказать в удовольствии дать кому-нибудь по морде, когда руки чешутся и безответственных морд полон двор. Один из бело-красных, судя по обрывкам погон, бывший марковец, рядовой, даже хлеб вздумал своей физиономией зарабатывать. Я слышал, как он сказал красноармейцу из "червонной дивизии", проходившему по двору со связкой бубликов под мышкой:

— Братик, а, братик, дай бублика! Другой день не жравши.

"Червонный козак" вел меновую торговлю: давал бублик за пачку папирос, два за носки, пять за френч. Он насмешливо оглядел со всех сторон давно уже раздетого марковца и спросил: — "А что дашь?"

Марковец засуетился. — "Братик, так у меня-ж ни шиа нету. Ей-Богу, вот крест. У меня-ж усе сняли.." — Подумал, широко улыбнулся, оскалив крупные зубы, и добавил: — "А, может, ты по морде меня ахнешь? Идет за бублик, а?"

"Червоноармеец," под хохот собравшейся толпы, положил связку на камень,

неспеша засучил рукава, сильным ударом по уху швырнул далеко в сторону вскрикнувшего марковца и так же неспеша пошел к воротам.

- Бублика "братик" не дал...

Оставление Крыма белыми, плен, комендантский "гроб" фильтрация - были для "бело-красных" только очередным звеном той тягостной цепи, в которую их заковала еще в 1914 году война, сначала всемирная, потом гражданская. "Джанкойское" звено для многих из них было даже желанным звеньем предыдущих: казалось, что оно знаменовало собой завершение цепи - говорили, захлебываясь от радости, что после регистрации всех отпустят по домам.

Поэтому "бело-красные" день и ночь брали приступом все двери и окна комендатуры. Пятью бесконечными ручьями медленно просачивалась эта вшивая и голодная толпа сквозь "гроб", ожидая "бессрочного отпуска", обещанного им наглой ложью большевистских прокламаций.

Для нас, для "врангелевцев" чистой воды, трагическое завершение белого движения было смертельным ударом. Он убивал в тех, кто плыл в эти безысходные дни к босфорским берегам, последнюю надежду на возобновление борьбы за русскую Россию. В нас, попавших в красный плен, он убивал и эту надежду и самую жизнь.

Поволочив десятки верст по джанкойским и иным камням израненные ноги и сломленную отчаянием душу, просиживали "белогвардейцы" часами неподвижно у заборов и стен. Было в этой неподвижности оцепенение, недоверие какое-то к совершившемуся и совершающемуся:

Может, просто приснилось всё это?  
Может, всё это — не жизнь, не явь,  
а так — "нарочно"!

Мсть за то, что белая армия успела уйти  
в море, с особой силой обрушилась на наши  
головы... Но склонялись они покорно.  
Самую обидную брань выслушивали равно-  
душно. Кровь на лицах и телах засыхала,  
покрывалась пылью — её никто не вытирал.  
Если мы пытались бравурной шуткой об-  
легчить свою душевную и телесную боль,  
— она казалась шуткой приговоренного к  
повешению.

И вместе с тем сквозило в этой белой  
покорности что-то до того неуловимо  
прекрасное, что горьчайшее унижение че-  
ловеческого достоинства мы принимали  
как венец. Не мученичества, а скрытой,  
неясной радости и гордости за дух, кото-  
рого не оплевать и не унижить.

Когда "белогвардейцев" били — а про-  
исходило это ежеминутно — я видел яв-  
ственно в каждой судороге, в каждой кап-  
ле крови избиваемого ту беспомощ-  
ную мощь, ту беззащитную правду, кото-  
рая электрическим током пронизывала меня  
каждый раз, когда надо мной поднимался  
красноармейский кулак или нагайка.

Только тогда, в те воистину голгоф-  
ские года, я почувствовал в себе, осязал  
и благословил камень твердости и веры,  
брошенный мне в душу белой борьбой.

Если человек несет в себе внутреннюю  
правду, всякое насилие извне только уси-  
ливает её тайную сопротивляемость на-  
силию, приближает её к святости...

Вглядываясь в мутный калейдоскоп  
лиц, я привстал со ступенек крыльца,  
хотел пойти к сараю. От голода и побоев  
закружилась голова, наполнилась нестерпи-

мым звоном... Толпа оттерла меня назад, ко "гробу".

У крыльца, пряча под свою "фельд-фебельскую" юбку какой-то мешок, стоял Кожухин. Он ехидно улыбался.

— Чего ты? — спросил я, падая на камни. Ставрополец ударил себя по невозможно вздувшемуся животу:

— Как меня в бабы произвели, так я значить, на сносях... Повитухи тут не имеется? — Выждав, какой эффект произведет это неожиданное увеличение его семейства, Кожухин наклонился ко мне и зашептал, приставив к моему уху сложенную рупором ладонь:

— В лазарете был. Сестры очень убивались, что тебя так обработали. Прислали тебе теплую рубаху, жратвы и денег немного. Самых, говорят, пообчистили братушки. Спрятал я всё под юбку, чтоб не отобрали. Рубаху дам вечером, когда потемней будет. На, шамай! Только чтоб неприметно.

И он, подозрительно оглядываясь, протянул мне большой ломоть хлеба с двумя котлетами на нем. Когда и чем отплачу я за помощь, мне и многим оказанную? Отсюда, из далекой северной земли, земной поклон шлю всем, жалости человеческой в себе не заглушившим в те звериные дни!

День прошел, два... С той же неумолимостью раздавались залпы за полотном железной дороги. С тем же упорством билась многотысячная волна в стены комендатуры. Пленные, напирая друг на друга, вливались медленно в охраняемые патрулем двери с надписью: "Отдел фильтрации". Вход по одному.

Внизу было наклеено объявление, написанное большими печатными буквами: "ИСПРАВЛЯТЬ СВОЮ НУЖДУ В КОРЕДОРЕ СТРОГО ВОЗПРЕЩАЮЩА. КТО ПОЙДЕТ ИСПРАВЛЯТЬ БУДЕТ РАССТРЕЛЯН НА МЕСТЕ"

Бывшие красноармейцы стремились пройти скорее это чистилище, преддверие рая — "бессрочного отпуска". Красноармейцами никогда не бывшие, жались в задних концах очередей, зная, что для них за чистилищем следует — "расход".

Я стоял у полуразрушенного дома, саженьях в двухстах от комендатуры, чувствовал ставшее уже привычным прикосновение десятков рук, обыскивавших меня со всех сторон, и думал: "Только в моем хвосте, по крайней мере, тысячи полторы. Когда же, интересно знать, братики чекисты профильтруют всех, если вход по одному? Рваться вперед, конечно, глупо. Подождем. Авось, братики устанут..."

Кто-то осторожно, почти нежно начал обшаривать меня. Я схватил костлявую грязную руку, оглянулся. Чахоточный красноармеец показывал мне дырявую шинелишку. — "Застудил вконец, пузо-то. Уж не серчай, одежду с тебя снять хотел."

— Брат мой, — с философским спокойствием ответил я. — Я сам на себе целой тряпки не найду, как же ты найдешь? Отойди, ты заслоняешь мне солнце...

Солдатик удивленно вскинул воспаленные свои глаза и нырнул в толпу, продолжая ловлю "одежи", без всякого, впрочем, успеха: вся рыба из пленного моря давно уже была выловлена неводами первых рыбаков...

Из чистилища вышел некто в черной куртке, взмахнул платком. Сразу же смолк человеческий прибой. Некто сипло прокричал:

- Товарищи пленные, фильтрации больше не будет. Здорово много вас поднавалило. Кроме того, особый отдел решил: раз вы остались на севере Крыма, не удрали с генералами к морю, то значит, вы есть несознательное население и...

- Правильно! - заорали впереди. - Мы што? Правильно! Врангель нас силком...

- И, значит, вы - продолжал некто, надрываясь в сиплом крике, не есть враги рабоче-крестьянской власти. Особый отдел объявляет вам амнистию, которую...

- Правильно! Во! Неча там канит... Тулу даёшь! Крути Гаврила! -орали впереди.

- Знаем мы вашу амнистию. Сами с усами... - послышался справа иронический голос.

- Товарищи пленные, собирайтесь в сотни. Пойдете под конвоем в Мелитополь.

- Пошто конвой? Амнистия! Отставить ребята! По домам! - неистовали "белокрасные".

- Товарищи, в Мелитополе разберут! Кого надо, по домам пустят. - Или же в расход,- добавил тот же голос справа.

Толпа хлынула на выгон, за комендатурой, разбилась на группы. Искали земляков, выкрикивали фамилии, составляли списки, спорили и виртуозно ругались. Зная, что приготовленная для нас в Мелитополе пуля не волк, в лес не убежит, я не торопился записываться в сотню. Медлил и Кожухин: "Солдатни на всю нашу братью все одно не хватит... Повременим маленько, авось, без конвоя пойдем".

Так и вышло.

Сперва каждую сотню сопровождало двадцать вооруженных красноармейцев, потом десять, потом пять. В конце концов

пленные уходили из Джанкоя или совершенно без конвоя, или их вел, так сказать, почетный конвоир из советского обозного сброда, полураздетый, безоружный, по внешнему виду ничем не отличавшийся от вверенной его попечениям сотни "врангелистов".

К вечеру на эту почетную должность уже не находилось кандидатов. Советская армия, со всеми своими необозримыми тылами и обозами, неудержимо рвалась в Симферополь, к берегам Черного моря, к вину, к кошелякам застрявших в Крыму буржуев, к складам нового английского обмундирования. О богатой добыче махновцев и буденовцев, первыми ворвавшихся в "осиное гнездо контр-революции", из уст в уста переходили творимые легенды. Уверен, что тот-же магнит грандиозного грабежа притянул к себе и джанкойский особый отдел, поспешивший разделаться с нами путём "амнистии".

Только утром следующего дня я примкнул к возглавленной Кожухиным сотне и двинулся на север.

На голове у меня была тиролька, на теле - присланная сестрами рубаха, поверх которой - чтобы не сняли - я надел рванный мешок из-под муки. Найденные за городом галоши, оказались малы - я прошел в них час, натер до крови ноги, бросил галоши.

Сначала холодная, по утрам подмерзавшая грязь дороги и острые камни доводили до слёз. Потом боль притупилась, стала безразличной. На горке, круто сбегавшей к Джанкою, мы нашли еще теплый труп старика-татарина с отрубленными



шашкой ушами. На волосатой груди его лежала крышка переплета с надписью: "Собаке собачья смерть..."

Справа, за переходящим в мелкий кустарник садом горела скирда соломы. Слева плелись воли красного обоза. Над головой жужжал аэроплан...

Так начался мой многодневный поход на Мелитополь, закончившийся торжественным в него въездом — смел ли я думать, что придется посягнуть на славу товарища Ленина — в запломбированном вагоне...

Долго бежала "бандитская" сотня наша по пыльной, желтой щетине необозримой степи. Выплывает в памяти ночь того же дня, первая по пути на Мелитополь. Железнодорожное полотно осталось далеко справа. Скрипели телеги, мягко цокали копыта, песни сливались с руганью в диком попури, пока таяли в непрерывной встречной волне советской пехоты и конницы. Когда ушли в степь, тысячеголосый оркестр смолк. Редко в тревожную тишину врывались выстрелы. Густая тьма упала на тропинку, с вечера служившую нам путеводной звездой. Стушевались телеграфные столбы, овраги, широкая межа, все время черневшая слева. У всех нас давно уже не было хлеба. Ветер студил грудь, холодная роса жгла ноги. И все таки мы шли куда-то.

Теперь я знаю — если у человека отняли семью, дом, а завтра возьмут жизнь, то ему уже все равно что делать — идти бессмысленно вперед, бежать назад, лечь в придорожный овраг, плакать, петь. Финал один ведь — смерть! Но тогда

семья моя казалась мне живой, родной дом только временно покинутым, жизнь как никогда прекрасной. И я замедлял её часы, казавшиеся всем нам последними.

Несколько раз мы меняли направление, проходили версту, две в сторону, возвращались назад. Жилы не было. Сидели с полчаса на твердой замерзающей земле. Засыпая на несколько минут, вспоминал каждый раз ночные переходы у Днепра, редкие привалы, сонный крик командира полка (звали его все Андрюша) — Стой! Слеза — а-ай... Помню как подхватывали эскадронные командиры то же тягучее, долгожданное "Слеза-а-ай", с какой быстротой, привязав поводья к руке, падали мы с седел на землю, все равно куда — в пыль, грязь, снег — засыпая молниеносно... и как невыразимо мучителен был новый крик Андрюши — "садись" — прерывавший такой мертвый, такой заслуженный сон.

Теперь не было этого "садись". Шорох подымавшихся с земли фигур, заменил команду. Шли понуро, снова, снова, не зная куда...

Под утро вошли в немецкую колонию...

## ІУ. В НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ

Румяное солнце смеялось в голубом небе... как румяный пастор на голубой стене. Было необычайно тихо. Эта тишина, кажется, и разбудила меня... Все ушли. Я смастерил себе лапти из найденной в классе тряпки. Оттого-ли, что утро было такое яркое, или мне просто ничего другого не оставалось делать, я бодро, внимания на холод не обращая, ковылял по хрустящему ледку дороги. Как ручьи, впадали в большую дорогу проселочные

тропинки. У одного из таких перекрестков я некоторое время простоял в нерешительности: а вдруг я иду не а Мелитополь, а в Крым, в "осиное гнездо контр-революции"? Вспомнились слова сказки: "направо пойдешь — коня потеряешь, налево — сам погибнешь... Но так как ни коня, ни жизни у меня уже не было, я заковылял по прежнему направлению.

Сзади загрохотали колеса. Не поворачивая головы, я увидел сначала упитанную экономическую лошадь, неторопливо бросающую тяжелые свои копыта на подмерзшую грязь, потом высокую тачанку с двумя седоками и красноармейцем на козлах.

— Куда прешь, генерал? — спросил из тачанки молодой звонкий голос. Я не ответил. Колесный грохот затих. Краденая, конечно, лошадь, пошла шагом.

— Куда шкандыбаешь, глухая тетеря? — повторили из коляски.

— В Мелитополь велено. Туды и пру, — неохотно отозвался я, чувствуя какими белыми (в двух смыслах!) нитками шит мой "народный" язык.

— Садись, отвезем. Замаялся, чай?

Это было так неожиданно, что я остановился. Прямо мне в лицо смотрел черными добрыми глазами, офицер в серо-синей шинели. За ним виднелся другой седок — в романовском полушубке, с прыгающим дымчатым пенсне на носу.

— Садись! Чего-там! — сказал молодой.

Я сел в тачанку, спиной к вознице. Молчаливо оглядывавший меня офицер в пенсне, насмешливо скривил свое полное "старорежимное" лицо", но ничего не сказал.

У молодого лицо было совсем "советское"

— чуть с рябцой, глуповато-добродушное, с щегольским коком русых волос из-под кожаного картуза. Подвигаясь к соседу и делая мне место, он хлопнул меня по рукаву "пальто", откуда выглядывал голый локоть:

— Важная одежда! Здорово, можно сказать, белая армия вас одела!

Я хотел сказать, что красная армия нас действительно здорово раздела, но он перебил меня с тем же выражением, немного детским, беспредельного довольства собой, "красным героем", довольства всеми "товарищами", победившими белых:

— А ловко же мы вам задницу припекли! Ловко, а? Так припекли, что небось и в Константинополе чешется? И зачем ты это, ваше превосходительство, у кадетов служил? Пахал бы себе землю да жену ...

— Послужишь козь ликвидацией имущества страдают белые-то, — фантазировал я, невольно краснея под упорными дымчатыми огоньками пенсне. — Не явишься на мобилизацию — корову берут, или там еще что... Послужишь тут!

— А из каких ты? Губернии, то-есть волости? — Мы екатеринославские. Мастеровой я, на чугунно-литейном...

Романовский полушубок откинулся на спинку тачанки. Долго молчавший седок со "старорежимным" лицом снял пенсне, подышал на стекла, вытерев их чистым платком и сказал мне, растягивая слова и медленно водя языком по верхней губе, полуприкрытой пушистыми усами:

— Так-с. Прекрасно. Даже великолепно. Но скажите, пожалуйста, мой дорогой, как это все-таки вышло, что вы не уехали со

всеми на Босфор, а попали в плен и теперь выступаете, так сказать "а ля мужик"?

"Мой дорогой" немного помедлил с ответом и, решив, что первая карта бита, поставил то, что осталось от жизни, на другую. "Мой дорогой" ответил спокойно, поскольку говорить спокойно позволяла ему дрожь в замерзающем теле:

— Как? Очень просто, мон шер: Меня, больного тифом забыли в лазарете. Просто. до глупого. Принимаю же я вид очень "де простой" потому, что так легче сохранить свою физиономию от рук и нагаек ваших рыцарей без страха и упрека.

— Однако, вы не из робких, — заметил "моншер".

— Ноблесс облич... — улыбнулся я. Молодой офицер, широко открыв детские глаза, смотрел на меня, то на товарища.

— Значит, ты... значит, вы... — путался молодой. — "Золотопогонник"? Офицер ихний?

— Нет, я не офицер...

— Ну, так зознательный белый?Который за буржуазию?...

\* \* \*

Колония казалась мертвой. Ни огней, ни голосов, кроме пылавшей крайней усадьбы, вокруг которой располагалась наша сотня, сонно переругиваясь и прикрываясь от дождя соломой.

Я обошел широкую с белыми заборами улицу, заглядывая в каждый дом, стучал в те двери, за которыми казалось, таилась жизнь. Мне не отвечали. У школы с выбитыми стеклами, казавшимися издали выколотыми глазами какого-то допотопного чудовища, стоял юзовский

рабочий, уже без галстука. Он звал кого-то охрипшим голосом, сложив трубочкой жилистые свои руки у рта:

- Петро-о-о, а Петроооо... - падал его резкий крик в дождь и предутреннюю мглу... - Хади сюды-ы-ыны...

Слегка задержавшись, я спросил наудачу: - "Что, хратву нашли?"

Не опуская своего рупора, отчего голос его, оборвавшийся на крике, стал еще глуше, парень ответил гордо: - "Щоб я да не найшов?" - тут он указал глазами на разгромленную школу - "Уже галушки варят... Петро-ооо, сукин ты сы-ы-ын!..."

Я остановился, обождал, пока из дождя и мглы ответили: "Сичааас..." - и сказал, не надеясь на ответ: - "Галушки? Вот бы мне..."

Вертялый парень перебил меня:

- Пошамать? Так кто-ж тобі не дает, мил-человек? Хады сыды. Кумпанией, кумпанией и храть надо-ть...

В школьной кухне дым из заваленной кирпичами трубы слепил глаза. Несколько человек осторожно мели ветками пол, собирая муку, рассыпанную, видимо уже давно, так как была она притоптана следами красноармейских сапог. Эту муку, по-видимому, и "изнайшел" юзовец...

Рябой низкорослый пленный с тараканьими усами месил тесто на опрокинутой кадке, растягивая его в длинные колбасы и передавал их кубанцу, варившему галушки в большом ведре. Повар наш, бросая в кипящую воду грязные куски теста, внушительно говорил товарищам, жадно глотавшим уже сваренные галушки: - "Господа публика! Не наваливай! Не наваливай! Мри в плипорцию!"

Подсаживаясь к "господам публике", я заметил, как кубанец быстро сунул одну из мучных колбас в карман. Заметил это и только что вошедший "Петро".

Он подбежал к плите и сдвинул руку кубанца пониже локтя так сильно, что тот выронил вилку, которой он мешал свое варево.

— Ты что крадешь, стерва? Вытягивай!

В голосе повара зазвучали нотки оскорбленной честности: — "Я краду? Я? Та чтоб я в пекле..."

— А это? — крикнул "Петро", вытягивая из его кармана сбившееся в комок тесто. Кубанец пытался было апеллировать к "господам публике":

— Люди добрые, так я же слепой, так у меня-ж болезнь в глазах. Ну, и попал заместо ведра...

Его с бранью и хохотом выгнали. Получив повышение в чине, у плиты стал рябой с тараканьими усами. К кадке домешивать остатки теста приставили Петра. "Кумпания" все прибывала... Ложки были не у всех. Многие ели галушки покитайски — палочками. Пока я делал себе вилку, старые и новые едоки старались совсем не в "плипорцию" и я успел проглотить только несколько галушек. Были они без соли, клейки как тянушки, под зубами чувствовался песок. Не утолив голода, дрожа от пронизывающей сырости, я возобновил свой обход колонии, и в поисках прюта

Несколько в стороне от других усадеб, нарушая симметричность широкой улицы, белел небольшой домик, такой же белый, как и все, с такой же черепичной крышей. Мутная полоска света пробивалась сквозь

ставни его окна, выходившего в молодой редкий сад, дрожала в луне, истыканной каплями дождя. Я посидел немного на крыльце, нашел на ступеньке окурок дрянной "самодельной" сигары, сбегал за огнем и опять вернулся к крыльцу. Полоска света не угасала, меня и раздражая. "А, может быть, выпустят все таки? Не без добрых же душ на свете...?" Я бросил в лужу вонючую сигару и постучал по оббитой войлоком двери. Прошла минута, две. Послышался спуганный женский голос:

— Кто там?

— Пленный. Я голоден и замерзаю. Помогите, ради Бога!

Опять томительное молчание. Потом сдавленный мужской бас спросил:

— Кто это, Луиза?

— Пленный. Говорит по немецки... Я думаю наш, колонист... — Разговор перешел в шёпот. Потом скрипнула дверь, мелькнула белая тень и тот же женский голос сказал:

— Входите, милый!

В комнате, куда я вошел, споткнувшись о порог, было полутемно. В мигающем свете маленькой лампы я заметил только гипсовое Распятие на каком-то большом ящике, похожем на комод, да широкую деревянную скамью у стены, увешанной дешевыми гравюрами. Та, кого называли Луизой, безмолвно указала мне на скамью, принесла подушку и большой ломоть свежего, с тмином хлеба, на котором белел кусок сала.

Казалось, в комнате никого кроме меня не было. Равнодушно стучали часы... Тихо трещала лампочка. Закрывая рот рукой — мне почему-то казалось, что я жеванием



своим разбужу хозяев, — я съел половину хлеба и сала, как мне ни хотелось съесть всё, засунул остальное в карман и осторожно растянулся на скамье. И потерял власть над собой. От радости, что я в тепле, что я сыт, что у меня есть хлеб и на завтра, я заплакал, закрыв лицо подушкой. Очень скоро беспричинные слёзы эти растворились в волне нахлынувшего сна...

Сбросил эту волну голос хозяина:

— Из какой вы колоний?

Я хотел было назвать первое всплывшее в памяти имя, но остановился во-время. Если будут расспрашивать, все равно узнают, что я не немец, да и трудно мне было подбирать слова давно забытого языка...

— Я не колонист. Я русский, бывший студент, улан...

Не знаю, нужно ли было им знать степень моего образования и род оружия.

В полутьме опять зашептались. Мужской голос что-то раздраженно доказывал. /Разобрал я только одну фразу: "Эти русские все одинаковы..."/.

Менский о чем-то робко спросил.

"Сейчас меня выгонят..." — подумал я, и сейчас же послышался из темноты бас:

— Нам очень жаль, но сейчас придет домой сын и ему негде будет спать. Он спит на вашем месте... — Сказано это было по русски, с сильным акцентом.

Говорить было не о чем. Я поднялся и, сдавив ладонью карман с хлебом, как будто хотели взять и его, сказал тоже по русски: — "Что-ж делать. Спасибо, что хоть накормили. Не хочу быть непрошенным гостем и ухожу... Ухожу, чтобы доказать, что не все русские одинаковы. Коммунист не только не ушел бы, но и разгромил бы

ваш дом. Я же, как и все настоящие русские, этот дом защищали своей кровью. В благодарность вы меня выгоняете, как собаку. Стыдно и подло так поступать!"

Когда я закрывал за собой обитую войлоком дверь, Луиза сказала: — "Георг, Бог тебя накажет за это..." И Георг ответил раздраженно: — "Меня Бог наказал уже..."

Ежась от дождя, попадавшего за воротник, я вернулся в школу. В ее маленькой зале с перевернутой на бок фисгармонией и портретом румяного пастора на голубой стене, спала добрая половина нашей "кумпании".

У дверей, на железном листе догорали дрова. Чад от потухающих головешек ходил по комнате едкими волнами. Прижавшись к соседу озябшим несоразмерно длинным телом, приказчик из Курска кричал во сне:

— Дашенька, я не виноват-с, ей Богу. Вот крест, не виноват-с...

Я настелил соломы за фисгармонией. Засыпая, смотрел на румяного пастора и думал, почему у него один глаз меньше другого...

1922



## ПРАВДА О 7.000 РАССТРЕЛЯННЫХ

### Мученической памяти

#### братьев Михаила и Павла

Штабс-капитан Кочановский и конный разведчик второй батареи Евгений Стерн шли позади всех и их то и дело толкали в спину мохнатые сибирки конвоя.

Особенно запомнилась одна: с белым пятном на забрызганной грязью ноге и неровно подстриженной гриве. Лошадь осторожно ступала по камням и, когда негромко звякало копыто, открывала глаза — грустные и ласковые. Ехал на ней Пильчук — веселый матрос в длинной бурке и красных штанах с серебряным шнуром. Лицо у Пильчука все время расплывалось в широкой улыбке и как то наклонялось вперед, когда он говорил надтреснутым голосом:

— Поторопись, поторопись, шпана! Все одно не утикешь. Севодни нам еще одну партию пропустить надоть.

Стерн торопливо двигался по шоссе, размахивая левой рукой. Правая была крепко до боли связана с рукой Кочановского просмоленной веревкой: она же связывала штабс-капитана с генералом Утловым, худощавым стариком с выбитым прикладом глазом. Генерал тяжело дышал и на ходу вытирал кровь о плечо соседа — военного чиновника Пронева. Кто был впереди, Стерн не видел.

Длинная цепь фигур тянулась в гору, усаженную тополями, и там тонула в предрассветной дымке. Слева был обрыв, изрезанный причудливыми зигзагами скал — как черные монахи стояли они, эти скалы, на долгой молитве: далеко внизу мерно двигалось, вздыхало, пенилось море.

Бледно-желтые капли звезд медленно гасли. Справа, по краю шоссе, то двигались в темную группу, то рассыпаясь по всей горе неясными точками, ехали солдаты комендантской команды. Сзади, на легковом извозчике везли два пулемета, и так странно было видеть их короткие дула на плюшевых подушках под парусиновым навесом крымской корзинки.

— Поторопись, офицерия, поторопись!

У Стерна в минутной спазме сжались скулы. Он погладил потную ладонь Кочановского.

— В... вы не боитесь?

Штабс-капитан резко качнул головой.

— Нет. Хамье! И, особенно, чего вы... Отстаньте от меня!

Потом ударил каблуком в булыжник так сильно, что колыхнулась цепь связанных, поддалась назад, а Утлов споткнулся и упал.

— Голубчик... — простонал генерал, вставая и прижал руку Пронева к окровавленной впадине глаза... — Голубчик...

Шоссе круто свернуло влево, огибая повисшую над обрывом глыбу с полуразрушенной башней наверху. Ее колонны и фигурная вышка мутно белели в тумане. Далеко позади остался город — мертвый, пустынный, с погашенными огнями. В передних рядах грянул выстрел: эхо упало в море. От башни вниз, по серой ленте шоссе поплыл гортанный крик: г-о-о! Пильчук пришпорил сибирку с неровно подстриженной гривой и помчался вперед. Бурка откинута назад как черные крылья.

— Кого-это раньше времени... — сказал военный чиновник, глубоко вздыхая. — Может быть папу? У меня папа впереди. Священник! Просил я: оставьте! Старый ведь! Разве можно стариков убивать? Просил я!

Стерн шел широким шагом, резал воздух левой рукой — между средним и указательным пальцами крепко сжатого кулака виднелась георгиевская ленточка — и говорил не то самому себе, не то облаку, похожему на крейсер: "Я не могу сказать, что мне страшно. Вот еще... Нет! Но ведь это бессмысленно. Как же так — не жить? Поймите: На поверке — вольноопределяющийся Стерн! А вольноопределяющегося Стерна нет. Не болен, не дезертировал, не в отпуску, а вот — нет! Я...я не понимаю. Это даже глупо по моему... Глупо!

У папы был большой серебряный крест, протоиерейский. Сняли. Золотой нателный — тоже. Маленький с голубой эмалью. Так. Верите? Я им так и сказал: берите! Расстреливать зачем? У меня еще жива мать. В селе Михайловке... У нас в саду смородина была. Черная и красная. Черной больше...

— Если бы в бою? Что ж делать? Я готов! Тому, кто Руси сын, на бой кровавый путь один... Но... позвольте! Это же убой! С какой стати? Вот еще... Капитан, скажите, капитан!

Колчановский ответил:

— Не кричите! Прикладом получите.

— Вы еще живы, капитан? Как это все странно, однако. Послушайте! Там опять кричат...

— За что вы Георгия получили, Стерн? Размазня вы, а не солдат! Или с ума сходите? Мне кажется, и я начинаю... Иду, а в голову — шестидесятка. Бу-ух... понимаете... бух! Я, конечно, умру просто. А пока дрянь на душе, отвратительно...

Стерн хотел что-то сказать, но только разжал кулак, бросил желто-черную ленту с крестом на камни и подумал, что

хорошо было бы сейчас им четверем — Качановскому, Проневу, генералу и ему — рвануться в лево и прыгнуть вниз. Тогда, может быть, вся цепь свалилась бы в пропасть, в море. И не надо было бы пулеметов... Сразу...

— Стой! Раздевайся!

Цепь остановилась на неровной, скользкой площадке, в двух шагах от обрыва. Засуетились конвойные, зазвенели по камню копыта сибирок. Мягко прошипели колеса корзинок с пулеметами. Их установили на полукруглом выступе скалы против цепи, с таким расчетом, чтобы огненный дождь смыл связанных пленных в море. Как вчера... Как завтра...

— Раздевайся! — крикнул еще раз Пильчук и подскочил к генералу, медленно расстегивавшему шинель двумя руками — своей и Кочетовского.

— Ты чего ждешь? Раздевайся, врангельский бастрык. Раздевайся!

Утлов поднял голову. Как всегда улыбаясь, Пильчук увидел темное пятно заплывшего кровью глаза — было уже почти светло.

— Брюки и сапоги еще можно снять, а вот шинель... ведь мы связаны. Шинель повиснет на руках...

Свистнула нагайка и генерал упал, сорвав кожу с рук Коченовского и Пронева.

Стерн лихорадочно опустил с плеч потертый френч. Рубахи не было — он обменял ее в тюрьме на две папиросы.

Неясно блеснула серебряная цепочка с золотым, потным кружком на изогнутом пальце.

— Что с этим? Куда его... слушайте...

Капитан, смежно размахивая руками, которых дергали во все стороны Стерн и

Утлов, повернул голову к конному разведчику.

- Да умирайте вы скорее. А то канитель какая... Тошно. Чего вам? Что там у вас такое? Иконка... благословение матери..

- Я свой крест отдал еще вчера какому-то нищему. А что с вашей иконкой делать? Не знаю. Зажмите ее в кулак, только им не отдавайте. Они будут в карты на нее играть, мерзавцы!

Только скорее! Очень уж мне плакать хочется...

- А мою ладанку, с мощами святыми, - сказал Пронев, дрожа всем телом, - следователь на допросе в плевательницу выбросил. Ты, - говорит, - не знаешь...

- Бога нельзя расстреливать, - прошептал Стерн, нежно целуя иконку. - Мамочка, ты прости!.. я ведь не в обиду... а так... чтобы в карты не играли... на сердце твоём боль... - и бросил золотой кружок в серую мглу моря. Мелькнула цепочка в предрасветном небе, прозвенела иконка по крутому склону горы, исчезла...

- Отойди, братва! Начинаем, - крикнули у пулеметов.

К Коченовскому с той же спокойной улыбкой на широком лице подошел Пильчук.

- А вы, ваше благородие, чом не раздеваетесь? Думаете - помируем? А... не хош?...

Капитан щелкнул каблуками и сказал, отчеканивая каждый слог:

- Пошел к черту! Понимаешь - к черту! Можешь сам, бандит, раздеваться, а я не желаю.

И добавил скороговоркой, пристально глядя на матроса, вырвавшего из кобуры перламутровый браунинг:



— Запорят тебя когданибудь за эти художества шомполами, каналья! Скотина ты такая!...

Стерн с глубоким, ласковым и благодарным чувством погладил холодную руку Кочановского, прильнул к нему голым плечом и закрыл глаза. Как стальной прут рассек тишину короткий выстрел. Капитан упал на колени, судорожно качая головой. Вольноопределяющийся, не открывая глаз, склонился влево и сказал, сжимая застывшие в его руке пальцы Кочановского:

— Вот вы и убиты, господин капитан... вот и убиты... А вы такой хороший гордый... Я вам отдаю своего Георгия, господин полковник... Мне теперь совсем не страшно, совсем... Посмотрите, я смеюсь, ваше превосходительство!...

— Конвойные отошли в сторону, сейчас нас убьют. А вы, мертвый главнокомандующий, получите высший чин у Бога...

Так с закрытыми глазами и странно просветленным лицом, говорил умирающему капитану Кочановскому, награждая его чинами за доблесть, конный разведчик второй батареи Евгений Стерн до тех пор, пока огненный дождь пулеметов не смыл его — всю цепь полуголых людей в лениво пенящееся море...

Багровым шаром взошло солнце...

## Д Р О Л Ь

Был он толст неимоверно, близорук до такой степени, что, наталкиваясь на тумбу с афишами или телеграфный столб, снимал шляпу и бормотал извинения. Как-то, врезавшись велосипедом в бредущее по улице стадо коров, он сказал сконфуженно, потирая ушибленное колено:

— Ради Бога, простите, господа. Я, право, нечаянно.

Ходил он переваливаясь со стороны на сторону. Как утка. Говорил нелепым говором — казалось всегда, что в пустой бочке хрипит слабо натянутая струна.

По вечерам в наробразе, где он заведовал какой-то секцией и жил в темном чулане, когда расходилась по домам толпа барышень в дважды перелицованных платьях, он долго сживал у расхлябанного рояля, подбирая плачущие мелодии к стихам Гофмана, которого знал наизусть.

Это кричащее несоответствие — лысая голова на обрюзгшем, будто налитом дремотой теле и хрупкие, тонко звякающие строки поэта-пажа — до слез смешили наробразских писцов в трижды перелицованных френчах. Регистратор Кувшинников, городской острослов, уверял даже, что Гофман прислал с того света почто-телеграмму, в которой умолял избавить его память от посмертного издевательства.

Фамилия у него была самая обыкновенная — Прокопенко. Таких не по летам распухших, неповоротливых, застенчиво-добродушных людей — превеликое множество в нашей солнечной стране.

Имя его тоже ничем особенным не отличалось — Сергей Григорьевич. Но как-то жена крупного подрядчика Нагорного, бойкая шансонетка из Лиона, знавшая Сергея Григорьевича еще тогда, когда он был членом окружного суда, сказала во всеуслышание, искренне всплеснув руками: "Comme il est drole, cet homme la!"

С той поры, потому ли, что он действительно был смешон, или по провинциальному равнодушию к французскому диалекту, эта кличка — Дроль — прочно установилась за Прокопенко. Даже уличные мальчишки, вникнув в смысл непонятного им слова при благосклонном содействии того же Кувшинникова, распевали на всех перекрестках:

Дроля, Дроля, передроля,

Толстопузая фасоля...

Кроме лысины и стыдливой склонности к музицированию, у Дроля было еще огромное, слишком порывистое сердце. Можно было подумать, что в нем, в неразумном сердце этом, кусочки воска склеены не воском, а старым, острым вином: слишком уж быстро пьянело оно, таяло, покрывая шарообразные щеки совсем молодым, горячим румянцем.

Дроль был влюблен шестнадцать раз. Шестнадцать раз подбирал он грустную мелодию к гофманской "Инфанте". Шестнадцать женщин смеялись над ним, передавая друг другу, как по наследству, прекрасное сердце лысого Дроля. Шестнадцать анекдотов рассказывал неутомимый Кувшинников наробразским барышням в дважды перелицованных платьях.

В семнадцатый и последний раз милый, смешной, близорукий Дроль бросил свое близорукое сердце к ногам Елены Ден.

Много прелестных лиц пришлось видеть в ныне потерянном краю, о многих мечталось в душистой тьме родного сада. Но такой огромной красоты, такой пьянящей улыбки пунцовых губ, таких необычайно светящихся глаз никто еще не видел ни наяву, ни в бреду. Когда Елена Ден, лукаво покрыв плечи старинным золотом волос, заливалась четкой свирелью смеха, хотелось почему-то долго, глухо плакать, чтобы залили крупные слезы эту невыносимую красоту, чтобы померкла она, слишком дразнящая, хотелось далеко-далеко унести, затаить, спрятать его, этот звездный подарок Бога темной земле...

Мудрено ли, что Дроль бросил себя всего этой семнадцатой и последней?

Елену Ден окружала шумная свита молодехи: бывшие офицеры, бывшие студенты, просто бывшие люди — писцы, регистраторы и делопроизводители семи учреждений.

По установившемуся этикету, шутливому, но строго соблюдаемому, у "королевы" ежедневно дежурил кто-нибудь из свиты по назначению ее величества. Дежурный посылался в бесчисленные очереди, мыл за королеву полы в красноармейских казармах, докладывал о новых декретах, защищал квартиру от уплотнения и слушал печальные песенки Вертинского, которые она исполняла мастерски.

Почему-то так вышло, что чаще всех у прекрасной Елены дежурил Дроль. Он

с одинаковой радостью, почти с восторгом чистил у ее дома снег, аплодировал ноющей грусти Вертинского и часами простаивал у лавки №7, откуда Елена получала паёк.

Его называла в глаза "мой верный пап", за глаза — "этот лысый дурак". Лысый дурак служил своей семнадцатой последней, вероятно, не хуже самого идеального средневекового рыцаря. Слушал, зная, что совершенно даром разбрасывает он свою стареющую нежность. Он был нескучен только тогда, когда молодыми, полными огня пальцами играл Скрябина, Рахманинова, Метнера на прабабушкином пианино Елены, чудом избежавшем национализации. Играл он с захватывающей глубиной, не по-дилетантски оттеняя все особенности новой музыки. Вне этого он был незаметен, молчалив, и, пожалуй, жалок.

В городе над Дролем посмеивались. Елена зазывным смехом встречала каждую, нередко грубую шутку своего двора, углубляя тайную боль верного папа.

— Дроль, поцелуйте мне руку! — капризно говорила она, играя изумительными озерами глаз.

Дроль порывисто вскакивал, но точеная рука пряталась в турецкие шали Елены.

— Какой вы смешной, Дроль... Заплачьте, а потом поцелуйте...

У него долго дергалось лицо, нелепо сжимались глаза, но слез не было.

— Не умею. Всё, что угодно, только не плакать, хотел бы...

Свита с большим участием хлопала его по плечу, советовала поступить на сцену:

- Там, знаете, в два счета плакать научат... Будете все время у королевы руки целовать...

А Елена, положив на маленькую ладонь золотистую голову, смеялась так нестерпимо-хорошо, что хотелось плакать. Не для рук, а так, просто... От бесильной и бесцельной нежности хотелось плакать...

Когда над испуганным городом заняли снаряды, торопливо рассыпалась дробь пулеметов, Дроль, конечно, был в маленькой густо заставленной мебелью квартире Ден и, стоя у окна, докладывал Елене.

- Утром был разведчик от них... от немцев... гайдамак какой-то украинский, с оселедцем на бритой голове... Говорил, что сегодня ночью обязательно войдут в город. У большевиков паника...

Вишняков, бывший ротмистр, а теперь машинист финотдела, поднял тщательно причесанную голову и спросил насмешливо:

- А вы не боитесь, Дроль?

- Чего?

- А вот стрельбы! Ведь очень страшно. Еще убьют, пожалуй, а? Отойдите лучше от окна. Слишком уж вы заметная мишень.

Дроль открыл окно и высунулся в него, опираясь локтем на подоконник.

У Елены лукаво поднялась бровь.

- Прогуляйтесь, пожалуйста, Дроль, до собора и обратно и высчитайте мне, с какой, приблизительно скоростью стреляет немецкая артиллерия?

Уже вдогонку ему Вишняков крикнул:

- Да поживее! Получите Георгия... Небо, как огромный котел, бурлило,

разбуженное орудийным гулом. Ежеминутно вздрагивала мостовая. Где-то совсем близко, за грязной рекой, трещали винтовки, выбрасывая вместе со свистящими пулями тысячеголосое эхо. Низко плавали дымки. На улице, как в четыре часа утра, было пустынно и тихо. Изредка проносились на заморенных конях красноармейцы еще позавчера эвакуировавшейся комендатуры да плелась по пятам собака с перебитой лапой.

Дроль без шляпы, с крепко сжатыми зубами, свернул за угол, к белевшему в дали собору, у булочной с качающимся кренделем, глухо шлепнулся снаряд.

Разорвался он не сразу, будто думал, стоит ли ради какого-то облезлого кренделя так шуметь. Потом прыснул металлическим звоном и подбросил вверх часть деревянного тротуара, угол дома, камни, осколки кренделя. Собака с визгом шархнулась в сторону, мимо обсыпанного мелкой пылью Дроля.

В окне соседнего дома показалась встревоженная женщина. Она кивнула головой и крикнула в форточку:

— Сергей Григорьевич, вы с ума сошли?

— Сошел... — смущенно отозвался Дроль, направляясь к собору.

На обратном пути артиллерийский обстрел был менее част, но ураганный огонь пулеметов хлестал воздух с необычайной силой. Видимо, силы наступающих стягивались к центру. Вдоль улицы, тонко воя, лилась струя пуль.

Только случайно можно было избежать этого дождя, и Дроль шел наугад, втягивая голову в воротник тужурки, переделанной из вицмундира.

В зияющей бреші булочной стоял конный красноармеец. Он с любопытством оглядел Дроля и остановил его.

— Нешто тебе жисть надоела? Путаться издеса. Скидывай сапоги! Часы есть?

— Дроль сел на расщепленный край тротуара и поднял ногу. Близорукие глаза светились странной, мигающей радостью. Левая рука снимала сапог, правая гладила рассыпавшиеся куски кирпича.

— Да ты, видать, юродивый... Иди, братишка, домой, а то, ей Богу, убьют, — сказал всадник и, пригнувшись к седлу, поскакал в гору.

Елена встретила Дроля с изумленной улыбкой. Показалось ли только, или в самом деле в уголках небывалых глаз всколыхнулся испуг, когда она спросила, стоя у двери:

— Вы живы? Я так беспокоилась... Бедный вы мой...

Дроль смущенно подошел к ней.

— Двадцать девять выстрелов... в десять минут... Кажется, шестидюймовка.

Он сел в кресло и задымил, то сжимая, то разжимая пальцы левой руки.

У него не было ее раньше, этой лихорадочной игры коротких, потрескивающих пальцев. Бывший ротмистр Вишняков в тот же день рассказал свите о нелепой привычке этого старого дурака: с ним сама Елена разговаривает, а он на тужурке, переделанной из вицмундира, какие-то бешеные мелодии разыгрывает.

Спустя неделю Елена скакала в мужском седле рядом с неестественно стройным немецким лейтенантом. Дроль немигающими глазами следил за тонким хлысти-



ком в тонкой руке, за прядью спелой ржи под синей вуалью. Сливались в радужный круг золотые и синие пятна, и что-то большое хотели сказать влажному стеклу прыгающие по нему пальцы левой руки Дроля.

Когда рыжий полковник в желтых крагах, с Железным крестом на горделиво выпяченной груди, знавший по-русски только одно слово — "випороть!", танцевал с Еленой вальс в общественном собрании, легко скользили маленькие ножки под гроыхающую музыку баварского оркестра, Дроль мучительно тяжело дышал в соседней комнате клуба, близоручко всматриваясь в раскрытую дверь. И так же лихорадочно стучали пальцы левой руки по изодранному сукну биллиарда...

Ранней весной, сейчас же по уходе немецких войск и гетманской вирты, Елену Ден арестовали за связь с немецкой контрразведкой и военный шпионаж.

Обвинение было вздорным с начала до конца. Но если бы девушку с незабываемыми глазами постигла даже заслуженная кара, разве мог "мой верный рыцарь" не обивать порогов особого отдела, моля о пощаде? Разве мог он, ничего не достигнув, не написать в ревтрибунал о том, что это он, Дроль — агент германской контрразведки и шпион, что он уговорил Елену взять вину на себя, думая, что ее, как женщину, пощадят...

Смешной, ласковый Дроль, не говоривший по-немецки, боявшийся, как огня, всякой политической игры, влюбленный только в королеву и Гофмана...

На масленице, в непогожую темную ночь, Елену Ден расстреляли. Расстреляли и Дроля за сообщничество, за слишком позднее раскаяние.

В тюрьме он окружил Елену таким тоскующим вниманием, такой трепетной любовью, что бывший ротмистр Вишняков — свидетель по делу Ден и тоже приговоренный к расстрелу — сказал ему в исцарапанной пулями камере, с трудом раскрывая разбитый на допросе рот:

— У вас большая душа, Дроль... У вас сердце героя, Дроль... Может быть, это бред... у меня стон в голове... может быть, вы — святой! А мы смеялись... а мы... я горжусь знакомством с вами, Дроль!...

Вместе с ними в ту темную ночь вели еще девятерых. У каждого на плече — лопата, у каждого в глазах — удушливая рябь ужаса... босиком, с непокрытой головой...

Дроль нес две лопаты — свою и Елены, копал могилу на двоих. Елена с перекошенным лицом, сдавила ему горло обеими руками, мешая рыть промерзлую землю. Дроль покачнулся немного и шепнул, баякая кого-то нелепым тенором — последний раз в пустой бочке прохрипела струна:

— Ну, разве можно бояться, девонька моя?... Ну, разве надо?... Я люблю тебя... я же здесь...

Четыре пули с коротким стуком врезались в Дроля. Он устоял над могилой, прикрывая обезумевшую Елену. Пятая свалила его в яму. Шестая раздробила локоть Елены, седьмая — голову...

Нелюдимо закричало эхо. Передний красноармеец поднял винтовку и с размаху ударил прикладом по волосам спелой ржи.

— Сдыхай! Орет еще тут...

И, повернув голову назад, спросил сердито:

— Усё?

Впервые было опубликовано в журнале "Опыты", кн. I-я. Нью-Йорк, 1953.

## П А Р О Л Ь

С самого утра густая сетка дождя падала мутным кружевом. Разбитая молнией верба тянула к небу обугленные ветви, и было что-то трогательное в этих застывших руках с мокрой, коричневой золой на расщепленных пальцах.

С необъятного поля чуть зазеленевшей озимой ржи дуло резвым ветром, теплым запахом травы, ранней, бодрящей весной. За дождевым пологом все время мерещились огромные расплывающиеся силуэты сказочных великанов. Но только телеграфные столбы медленно выходили из водяного дыма и покорно уплывали назад, сламываясь за горой.

Придорожные лужи бороздились мелкими пузырьками, расходящимися кругами, будто сыпали на них сверху градом. Невысокая щетина ржи мягко шелестела под дождем.

Ехали гуськом. Впереди колыбался башлык начальника разъезда, высокого с куриной грудью зауряд-прапорщика Свистулина, то и дело падавшего на луку. За ним ехал вестовой командира полка Худько, за неумеренное пьянство попавший в строй. Шествие замыкал Виктор Павлович Сливков, тоненький кадет с густым басом. Кажется, деланным.

Свистулин, падая кривой грудью на шею лошади, дремал. Вторую неделю уже, днем и ночью, полк перебрасывали с одного фланга на другой, вторую неделю люди не смыкали глаз. Когда мокрый

башлык прапорщика падал на спутанную гриву, рослый, с большими ногами гунтер останавливался на мгновение и недовольно фыркал.

Острые прутья старого седла мешали спать кадету, Виктору Павловичу. Так называли его все, даже командир эскадрона, за непонятную в семнадцать лет склонность к философскому оправданию неумной нашей жизни. Звали кадета еще "панночкой": были женственно округлы и румяны детские его щеки.

Сливков, мигая уставшими веками, жевал сушеные сливы, сплевывая косточки в кулак. Вернувшись с разведки, можно будет разбить их в ступе и съесть вкусные горьковатые зерна.

Вестового везла взлохмаченная кобыла Партийка, отбитая в прошлом году у латышей-курсантов. Кобыла тоже дремала, равнодушно передвигая забрызганные грязью ноги. Вероятно, ей и жаловался Худько, тщетно раскуривая на дожде "козью ножку":

- Рази можно, говорю, да в такое времечко да чтоб без пьянства? Смута, то-есть, и душа тоби на месте стоять не жelaет. Душа, хосподин полковник, не жelaе. Иий Боху.

Кобылка покорно слушала смешную смесь русских и украинских слов вестового, над которой очень потешались в полку.

- Так и ховорю: не могу я, хосподин полковник, чтобы в трезвях жить. Ну его к бису, ховорю. Зальешь малость, так воно куды спокойней, и прямо: трын-трава усе на билом свете. А воны: в строй пойдешь, пьянюга!

Худько поправил сползавшую с плеча

винтовку и ударил слегка Партийку, хотя та брела не останавливаясь.

- Ноо-о, каммуния!...

Минуты три вестовой помолчал, будто забыл, на что он жаловался сонной Партийке. Потом опять вспомнил:

- Строй? Шо-ж, я не то чтоб прочь. Черт его дери. И в строй пиду. Шо мы строев ихних не бачылы? А только душа, ховорю...

- Вино - возбуждение искусственное, а должно быть возбуждение духовное, порыв, - сосредоточенно сказал кадет, пряча косточки в карман вымокшей шинели. - Пьяным родину каждый любит, а ты вот трезвым полюби!

- А душа? - не унимался Худько. - Не желае, Виктор Павлыч, хоть ты што. Я и батюшке докладывал на исповедях: так что, звините, нестоющий я человек, без нутра уже. Одна хформа, а без шкилета. И хожу там, сапоги командировы чищу или жеребца ихнего, Мыхвистофеля, а когда там в картишки захарю або по женской части. Действую, словом, а будто давно уже представился. И чувства такого що живу, значит - нима. Прямо, ий-Боху, один калинкор с кандибобыром.

Вероятно Партийка не любила иностранных слов и споткнулась, за что Худько и стегнул ее истрепанной плетью по костлявому крупу.

- А батюшка и кажутъ мини: смиришь, это у тебе бис възгрался. Бис то на усем свете Божьем играе, батюшка: времячко для биса, как раз подходящее. От тут и поймы, який у меня бис забрався: той, шо на всем свити, чи новый?... Так я думаю, Виктор Павлыч: куды спокой-

нее покойникам, которые на полях поляглы за виру, царя и отечество и демократическую свободу. А так же аграрные реформы.

Партийка опять споткнулась. Кадет, отвечая своим мыслям о чем-то большом и непонятном, проронил с торжественной грустью:

— Больше никто же любви не имат, кто душу свою положит за други своя. Всем тяжело, Худько. Надо жить. Обязательно надо жить.

Свернули с большого шляха на проселочную. Дождевая сетка поредела. В молочном кружеве брызг, дрожа расплывчатыми пятнами выступили далекие звезды. Булькала под копытами жидкая грязь.

Вдали потянулась темная, извилистая лента. Нельзя было разобрать, что это: Тын? Полоса свежее вспаханной земли? Потянуло дымом. Сливков подъехал к зауряд-прапорщику, тронул его плеткой.

— Свистулин, тут деревня, кажется. Напоремся на заставу.

Не открывая глаз, кивнул прапорщик головой.

— Знаю. Не басы ты так, в Москве слышно.

Как всегда, упоминание о Москве кольнуло сердце кадета тихой горестью. Он незаметно вздохнул и еще глубже ушел в воротник шинели.

Показался невысокий холм, за ним будто засветилось окно и сейчас же погасло в надвинувшихся деревьях. На хуторе весело тявкнул пес. Ему довольным ржанием ответила Партийка.

Дернув поводьями, Худько хотел было досказать про нежелавшую стоять на

месте душу и так понравившиеся ему своей непонятностью аграрные реформы и вдруг, уронив повод, сказал скороговоркой:

— Хлопцы, скидай шапки. Суббота сегодня.

— Ну и что же? — удивился кадет. — А вчера была пятница. Америка!

— Страстная суббота. Ий-Боху! Пасха завтра, хосподин прапорщик! А мы на смертоубийство идем. Як же так?

Вестовой даже привстал на стременах, так показалась ему чудовищной смерть и кровь в такую ночь. Кадет, забыв о базе, сказал молодым ломавшимся тенорком:

— Четверг двадцать четвертое, пятница — двадцать пятое, суббота — двадцать шестое, воскресенье... Да, завтра Пасха. А я в этом году и не говел даже. Мечешься тут, как сумасшедший...

Слипшиеся веки зауряд-прапорщика раскрылись сами. Он остановил лошадь, снял набухшую фуражку, перекрестился несколько раз. Перекрестились и другие. Кадету вспомнился гордый гул с колокольни Ивана Великого, и опять тихая горечь сдавила сердце.

— Час-то который? Поди, и служба началась, — сказал Свистулин, зевая. Фосфорный циферблат голубоватым кругом вспыхнул на его руке.

— Одинадцатый. Эх ты, доля наша собачья!...

И сейчас же, разорвав дождевую сетку, влажными силуэтами вынырнул из тьмы неприятельский разъезд.

— Стой! Кто такие?

Партийка, широко расставив передние ноги, радушно взмахнула хвостом, вытягивая голову вперед. Навстречу протя-



нулась узкая белая морда с нависшей на глаза челкой. Караковый мерин кадета шарахнулся в сторону.

— Ошалели, что ли? Свои! — крикнул Свиштулин, лихорадочно расстегивая кобуру. Пальцы скользили по мокрой коже, револьвер путался в шнуре.

— Какой части? — спросили впереди.

— Второго полка, черноморской дивизии. Команда разведчиков. За белыми охотились. Да драпанули, черти. Повертай братва, назад!

Назвав первую попавшуюся часть, Виктор Павлович одной рукой натянул повод, привстав на стремянах, другую опустил броском вниз, к шашке. Мелькнуло еще раз то великое и загадочное, что все эти дни не выходило из головы.

— Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя...

Бесшумно поползла вверх по ножнам кривая кубанка.

— Положу, Господи! — И прибавил почему-то вполголоса: — Воистине воскрес... — будто встречал чье-то приветствие, радостное и родное.

Впереди, за сутуловатой спиной Свиштулина, было много — десять ли, двадцать ли всадников — мешал разглядеть мрак. Всматриваясь в него немного, как он говорил, выпившими глазами, Худько не понимал, почему большевистская застава не кричит: "Даешь Деникина!" Завсегда кричат, а тут...

Передний вытянул вперед руку, шелкнул чем-то. Пролилась в дождь желтая искристая полоса электрического фонарика, задержалась на цветной фуражке зауряд-прапорщика.

Советский отряд расступился, продвинулась линейка с пулеметом.

Свистулин нащупал курок. А впереди вставил кто-то нехотя:

— А может и наши? Переодевшись только. Не видать, глаза выколешь. Ты паролю у них поспроси.

— Пароль?

Стало очевидным, что не уйти. Еще миг и сверкнула бы в дождливой сетке кривая кубанка, а потом упал бы в хлюпающую грязь кадет Сливков Виктор, до Москвы не дошедший, косточки слив рассыпались бы...

— Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя...

— Пароль? — злобно крикнул передний, поднимая суженную книзу трубку ручной гранаты.

Тот, на белой лошади, вскинул карабин. До боли крепко сжал в костлявых пальцах своих прапорщик тяжелый наган.

Худько забыл о душе, стоять нежелавшей. Когда скользнул фонарик по прищатому его лицу, вестовой сказал широко улыбаясь:

— Христос воскрес, братцы! Ей-Боху! Пароль наш такой: Христос воскрес?!

— Ты не брешь, харя! — неуверенно ответил передний.

Вестового искренно обидела такая недоверчивость.

— От крест! Побый мэно Бог! — Пасха завтра!

Электрическая струйка сломалась, брызнула в испсанную дождем лужу у края дороги.

От линейки отделился кто-то, подошел к головному:

— Верно, Вася. Святая ночь нонче.

Фонарик погас. Далеко влево запел деревенский колокол. Начальник заставы

утонул в полумраке, сливаясь со своими. Сдержанно раздались голоса:

— Это не дело, чтобы биться...

— Айда назад. Приказ? Скажем, что убегли...

— Вестимо. Охота в такой день...

Худько слез с Партийки и, разминая ноги, бросил в мрак:

— Скидай шапки, братва! К заутрене звонят.

И пошел к линейке.

— Христос воскрес, православные. А ежели хто из вас коммунист, без Бога, то с праздником вообще! В такой час бытсья? Ну его к бису, православные!

— Сам ты, харя, коммунист, — весело ответил один из красноармейцев. Другой крикнул подходящему вестовому:

— Куда идешь? Заштрелю!

Худько остановился. С линейки спросили:

— Разговеться то у вас есть чем, господа офицеры?

— Ныма, товарищи, — в тон ответил Ходько, шаря в карманах. — Так что один табак. Виктор Павлыч, ты слив щэ не поив?

— Пошамал уже. Только косточки.

Начальник заставы выехал вперед.

— Так как же, православные? Биться? Грех-то ведь. Белые у нас развелись, красные, а Бог-то один для всех. Верно? И потом все одно — порубим мы вас за милую душу аль в плен возьмем. Верное слово.

— Что порубите — так, — ответил, выпячивая кривую грудь Свистулин. — Ишь, храбрый какой! Вас пятеро против нас, да пулемет. А касательно плена — дудки-с. На-ка, выкуси! В плен не пойдём. А разойтись по хорошему ради воскресения Христова, это я согласен.

"Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ..." — запел вполголоса Худько, садясь на лошадь.

— Эх, було времячко: и ковбаски тоби, и горилка...

— Так, — задумался головной. — Что ж и на нас крест имеется. С Богом, православные. Христос воскрес! — и повернул коня.

— Воистину! — сказал кадет, стыдясь неожиданных слез своих. — Может, и вы и мы еще в церковь поспеем. Нам недалеко, в Ивановскую. С Богом!... Хорошо жить на свете, Свистулин. Правды еще много.

Прапорщик ничего не ответил, ехал с непокрытой головой, вслушиваясь в далекий звон.

Дождевая сетка молочной стеной выросла, все расширяясь, между разъездами. Застучала по мосту линейка.

Худько до самой Ивановской рассказывал про розговенье на Посядах, родном хуторе на Ворскле, про ковбаску, куличи прямо в аршин, про дивчат в новых корсетках, плахах и о том, как всю эту привольную и тихую жизнь смели "огарные" реформы.

"Новое русское слово"

Нью-Йорк, 30 апреля 1972 г.



## В МЕРТВОМ ДОМЕ

### БЫЛЬ

Потому ли, что с убаюкивающей монотонностью падала стена снега или, меняя на тридцать девятой версте лошадей, он выпил у председателя волостного исполкома слишком много церковного вина, как-то сразу напоминавшего и деревянную церковку, и отца Стефана в лиловой рясе, — но казалось теперь Хорову, что ему не под сорок, а только восемнадцать лет, что он не истрепанный, не желчный, не следовательно по особо важным делам, едущий в Пеньков по делу о контр-революционном заговоре бывшего дворянина Трибицкого, а реалист выпускного класса Петенька Хоров, на рождественские каникулы едет домой, в село Большие Холмы, и его укачивают родные с детства розвальни. \*)

Вот так и было: летели мотыльки снега, тихонько визжали полозья, на козлах, завернувшись в баранью шубу и рваное одеяло, покачивался Федька — мужик степенный, какую-то большую думу затаивший в маленьких запавших внутрь глазах. Плыли версты, легкие и сонливые: рассыпалось небо белым дымом: иногда левая пристяжная начинала ни с того, ни с сего прыгать и кусать коренника, и тогда Федька, недовольно крикнув, бил ее в круп ногой в огромном валенке.

Дома Петенька с полчаса переходил из объятий в объятия матери, мелкой помещицы, в несменяемом капоте с зелеными разводами, сестренки Сони, радостно хлопавшей в ладоши, отца, вечно страдавшего зубной болью, каких-то почтен-

---

\*) В основу этого рассказа положен случай внезапного помешательства чекиста в доме, принадлежавшем матери автора.

ных старушек, няньки Лизаветушки. Все это суетилось, засыпало вопросами, рассказывало самые свежие новости и слухи Больших Холмов.

А когда, умывшись и важно закулив папиросу, шел Петенька в столовую, все — и мать, и отец, и Соня, и старушки, и Лизаветушка, двигались за ним, как свита. В столовой, между буфетом и потрескавшейся картиной Маковского "Поцелуйный обряд", в кресле с золочеными ручками обыкновенно сидела Ляля, младшая дочь отца Стефана, с утра ожидая Петеньку. Он подходил к ней, розовый от молодости и смущения, ласково подавал руку, а свита впивалась им в лица и дурачливо кричала "горько!"

Знали, что любовь долгая и нежная связывает выпускного реалиста с поповной, знали, что летом, над затхлым прудом, до зари просиживали они, немые и захлебывающиеся, а потом шли по росистой траве, по грядкам цветной капусты и петрушки, шатаясь как пьяные, и тяжесть еле сдерживаемой буйной страсти вдавливала их ноги в мокрую землю. Знали все это, а вот теперь — нечуткие такие — добродушно посмеивались, когда девушка холодными от волнения губами целовала Петеньку в лоб.

Была Ляля слишком смугла и, пожалуй, даже некрасива собой — с большим ртом, с большими пухлыми руками, но такой ясной синевой мерцали ее глаза, так матов был румянец на щеках, так забавно и кокетливо, перекинута через правое плечо, дергалась в такт шагам, темная коса, что всякий раз у Петеньки сладко ныло сердце, когда нечаянно или нарочно, задевала его Ляля рукой или светло-желтым бантом косы.

Поздоровавшись, брал Петенька со стола прошлогоднюю "Ниву", садился рядом. Мать накладывала в хрустальную вазочку вишневого варенья, заваривала чай. Весело звенел древний, прабабушкин самовар. Рука Ляли дрожала на золоченной ручке кресла и незаметно протягивалась под "Ниву" — до боли сильно сжимала пальцы Петеньки. Стыли часы.

С неясным шумом упало небо, рассыпалось на мелкие, снежные куски. В гуще коричневых волосиков башлыка, нахлобученного до подбородка, заискрился огонек. Лошади стали.

Хоров, вздрогнув, открыл глаза. Зевнул.

— Ну, чего стал? Поезжай дальше.

Ямщик спрыгнул с саней и ответил бабьим голосом:

— Куды — поезжай? Оце-ж вам и Пеньков. А вот гостиница.

— Значит, я спал... Тащи вещи. Свежо, однако.

Длинный дом оливкового цвета — пеньковская советская гостиница — чернел рядом окон. Только в крайнем левом горела свеча. За вечер на широкий тротуар намело сугробы снега, ноги вязли в их глубоко пуху. Хоров с трудом добрался до двери и постучал в стекло — звонка не было.

Заскрипел ключ, с крыльца побежала вниз полоса света. На пороге появилась женщина с лампой в руке.

— Телеграмму мою получили? Комнаты есть? — спросил Хоров, входя в переднюю.

— Есть, пожалуйста.

— Без клопов?

— Без.

Мальчишка-ямщик внес два чемодана и



ручной саквояж, получил смятую бумажку и ушел, оставив запах махорки и дегтя.

На паркете расплывалось пятно талого снега. В углу, где стоял большой окованный железом сундук, свешивались вниз темные полосы обоев: видно, перетаскивали куда-то сундук и задели острым углом стену.

Пока следователь сбрасывал башлык, бобровую шапку, одну и другую шубу и чистил на себе френч с университетским значком, женщина смотрела на него забитым взглядом.

- Вы заведующая гостиницей? Как ваша фамилия, товарищ? - сказал Хоров и сейчас же подумал: что это у меня за тон такой вечно... допросный?... - Тоскливо вам здесь одной?

Женщина подняла с полу окурок и бросила его за сундук.

- Нет, ничего. Привыкла я уж. А фамилия моя - Симанская. Марья Семеновна Симанская. Вы будете что-нибудь есть?

- Есть не хочется, днем плотно пообедал, а вот чаю выпью с удовольствием. Так что вы соорудите мне самоварчик. Кроме меня есть еще кто-нибудь?

- Никого.

- Прекрасно. Не терплю шума. Ну-с, проведите меня в мои апартаменты.

Марья Семеновна с высоко поднятой лампой пошла по широкому длинному коридору. Сзади шел Хоров с саквояжем, и по привычке, насвистывал "Это девушки все обожают"... - Шаги глухо отзывались под высоким, серебристо-серым потолком: смутно очерченными квадратами мелькали выкрашенные под дуб двери. В конце коридора высился огромный шкаф, покрытый тонким налетом пыли.

-Хороший дом. Чей это?

Марья Семеновна остановилась на минуту.

-То-есть, как это - чей? Конечно, советский.

-Это я и без вас знаю. А чей он был раньше?

-Анны Михайловны Губовской. Была здесь такая...

-Буржуйка? - досказал следователь и опять подумал: что за банальность! - Но был ход его мыслей и слов как будто предreshен, как будто заведен ключом, привычным за много дней вперед. - Теперь, конечно, в бегах. Вы ее знали? Воображаю, птица.

Марья Семеновна хорошо знала хозяйку дома, была подругой ее дочери, слышала, что погибли у нее три сына, но отрицательно повела головой.

-Не знала. Вот ваша комната, а чаю я принесу.

Хоров слегка поклонился.

-Спасибо.

Тишина в комнате была удивительная, строгая такая. Как будто те, что жили в ней раньше, уходя в бездомье, унесли с собой всю суету своей жизни, тревоги и печали, а тихую молитвенную радость оставили.

Или может быть, забыли? Светилось это, чуждое новым, безмолвие в запыленном зеркале высокого черного трюмо между окнами, в матовом блеске письменного стола на выгнутых ножках: таилось это в небольшом шкафу с книгами, занавешенном темно-красным шелком, в плетеном кресле - подушка лежала на нем зеленая, с какими-то странными, наивными цветами. Казалось, сорвав портьеры гостиной на галифе

и кожу столового дивана на куртки, искромсав, изгадив все, что попало на глаза, пьяная толпа побоялась вломиться в эту комнату, слишком цепко преданную прежнему, влюбленную в былое. И потому до сих пор оставалось целым сукно на письменном столе, и строго смотрел из темной рамы Николай Чудотворец. Как прежде.

Хоров бросил в кресло саквояж, провел рукой по волосам, чуть тронутым сединой, открыл шкаф. Запахло лаком и пылью, когда вытащил книгу в тускло-лиловом переплете. "Севастопольский мальчик". А на внутренней стороне переплета цепочка крупных букв: "Милому Коле от папы 1913".

Следователь бережно перелистал книгу, прочел страницу, улыбнулся знакомой с детства фигуре адмирала Нахимова, закрыл. Потом взял другую - "Записки институтки". И снова надпись на переплете почерком острым и прыгающим: "Диличке от Жени". Вся верхняя полка была уставлена детскими книгами, и носили они следы чужей-то далекой, непонятной Хорову заботливости: закладки, неумело вышитые крестиками, ленточки, на каждой книге - номер. На двух нижних полках, тесно прижавшись друг к другу, дышали тишиной и пылью Пушкин, ранние стихи Блока, Оскар Уайльд, немецкие классики, изорванный Ницше, журналы, сборники "Знание".

Следователь крепко прижал к виску ладони - ныла последнюю неделю голова, так что было мутно в глазах и закрыл шкаф. Стало тоскливо и неловко почему-то. Жили здесь какие-то далекие ему люди, в детстве читавшие Чарскую и Ста-

нюковича, потом влюбились в Блока; в неистового пророка сверхчеловека — Ницше. Текли дни размеренные и ясные. И вот пришел следователь по особо важным делам Хоров, и стали горькими дни. Пришел следователь Хоров, весь в желчных усмешечках, в табачном пепле, в крови. Следователь Хоров, убивший, может быть, отца и брата. Пришел жуткий и жесткий, с наганом на широком ремне, с бутылками церковного вина в краденном саквояже, в чужой шубе с бобрами, и чутко насторожилась комната, налитая прошлым. Кажется, заплакала.

Покачиваясь в плетеном кресле, думал Хоров о том, чего уже никогда не будет — о молодости, о поле васильков за садом отца, о Ляле. Казалось тогда все таким простым и вечным: васильки не отцветут, молодость не сгинет. Когда пела Ляля над прудом песни или, трясая седой головой, резала Лизаветушка яблоки для сушки, думалось — хорошо жить. Господи! Смеялись Ляля, Лизаветушка, серый пес Волк, кусты смородины за домом, голуби, садовник Архип, зимой и летом ходивший в валенках. В о в с е м, в каждой мелочи, в мимолетном слове дрожала она, эта неумолкающая радость жизни.

Дрожала, а теперь... Из рта выпала искусанная папироса и покатилась по полу, оставляя дорожку пепла. Было бы смешно поднять ее, привыкнув к грязным канцеляриям и кабакам, да и закатилась она далеко — под кровать, но следователь, подчиняясь какому-то властному настроению, долго шарил в темном углу, нашел окурок и спрятал в карман — пепельницы не было. Потом смахнул носовым платком пепел, и снова сел, глядя зеленую подушку с наивными цветами.

Постучали в дверь.

- Войдите!

В комнату вошла Марья Семеновна с подносом, на котором тускло поблескивал чай в стакане, а на тарелке лежал хлеб, намазанный маслом.

Пока заведующая ставила на стол чай и хлеб, Хоров рассматривал складки ее вылинявшей юбки и думал, что сейчас уйдет Марья Степановна, шлепая ночными туфлями по коридору, и опять сдавит его мертвая комната в тисках все ярче и мучительнее, и чаще приходящего сожаления о чем-то ласковом и покойном, опять до глубокой ночи будут гореть виски.

- Вы живете здесь? - спросил Хоров, чувствуя как много тепла вкладывает он в такие обычные слова.

- Да, но ночую я во дворе, в маленьком флигеле. Я и дочка.

- Вы вдова уже? Такая молодая...

У Марьи Семеновны незаметно дрогнули руки. Она ничего не ответила и накрыла хлеб салфеткой с красной монограммой "А.Г." Над стаканом подымался легкий пар.

- Мне кажется, ваш муж ушел с белыми - начал следовательно и зашагал по комнате. - Служебная ли это опытность или так просто - наблюдательность чисто природная, но когда вы встретили меня и посмотрели исподлобья, я сразу же решил: контрреволюционерка. То есть, простите, всегда у меня эти глупые слова. Я не то хотел сказать, не то. А вот... еще тогда, в передней, мне показалось, что вы меня ненавидите скрытой, но глубокой ненавистью. Ведь правда же - ненавидите?

- Я на всех так смотрю, у меня глаза большие, - сказала Марья Семеновна.

Следовательно сел на кровать, задев ре-

вольвер подушкой.

- Глаза? Может быть, может быть. Я не спору. Но почему не только вы - все так на меня смотрят? Почему? Ну, хорошо! Следовательно Губчека. Убийца, палач, по вашему. Пусть. Но разве я не могу служить своей правде - понимаете - правде так же убежденно, как ваши мужья и братья служат своей? Если вы меня считаете мерзавцем, то почему я не могу считать мерзавцем бывшего дворянина Трибицкого, замышлявшего заговор против меня? Ведь выйди у него переворот в общегосударственном масштабе, он поставил бы меня к стенке, так же безжалостно, как это делаю теперь я с ним. Наверное поставил бы! Так почему же с его стороны это - справедливо, а с моей - убийство, а? Нет, ответьте мне!

Сначала Марью Семеновну удивило это, ставшее вдруг желтым и длинным лицом, эти быстрые, хрипло произносимые фразы: прижавшись спиной к стене, подумала: как ненормальный. Потом годами сдерживаемое раздражение всколыхнулось в ее душе и горячим шаром подкатило к горлу.

- Вы еще спрашиваете почему? - сказала заведующая, стуча подносом по столу. - Вы уверены, что это равная борьба? Нет, вы оживите всех расстрелянных Трибицких, выпустите их из тюрем, верните всех бежавших из России, разделите поровну оружие и тогда вы увидите, за кого народ, - за вас или за них. А то - герои какие! Подумаешь! Правду с ножом за спиной проповедуете?!

Хоров, не мигая, смотрел на женщину и впервые за все это время не приходили ему на ум ни арест, ни ссылка, ни

высшая мера наказания. Он не понимал того, что в безудержном гневe кричала Марья Семеновна, не старался понять. Стоял у кровати и, то сжимал, то разжимал пальцы, говорил тихо и монотонно:

- Вы меня не понимаете, вы меня не понимаете.

Ногти резали ладонь, боль от висков расплзалась вверх, по всему черепу, но в глазах, полузакрытых веками, кружилось какое-то приятное, покойное тепло без мысли, без желаний, без гнева. И когда, хлопнув дверь, вышла из комнаты Марья Семеновна - слепая по коридору туфлями и качая головой: ну, быть мне завтра в Чеке... Следователь сказал ей вслед с нервной дрожью:

- Спокойной ночи! А вы все-таки... того... поймите меня! Марья Семеновна!

Опять заколдовала мертвая тишина: за стеклом шкафа шевелилась занавеска: в левом углу белела борода и густые брови Николая Чудотворца. Опять сильно потянуло пылью и пустотой.

Открыв средний ящик стола, Хоров вынул оттуда связку писем в простых серых конвертах. Все они были записаны одним и тем же почерком - неустановившимся, детски-девичьим, забегающим вниз и вверх по краям листа. И в них, как и в книгах, как во всей этой детски-юношеской комнате еще искрились следы чьих-то нежных пальцев, чьих-то теплых губ.

"Мой милый мальчик", - стояло в верхнем письме, - "я сегодня совсем сумасшедшая. Мне так трудно понять: вчера еще ничего не было, а теперь - ты. Как я могу сказать, что во мне сейчас, что со мной, - какое счастье?! Сажу в

классе, как на иголках, скорее бы вечер, к тебе, радость моя безмерная! И потом... я, ей Богу, боюсь, что учитель и подружки услышат, как у меня стучит сердце. Глупая, да? Все равно. Космография сегодня — ни в зуб. Люблю. Твоя Ляля".

Взволнованно прочел следовательно несколько раз последние слова: Твоя Ляля, твоя Ляля, твоя Ляля. И здесь, у какого-то "милого мальчика", бросившего на произвол судьбы родной дом, была тоже Ляля, писавшая такие же бессвязные, и ласковые, и молодые письма. Было счастье, уроки, космография, двойки.

— Ля-ля, — прошептал Хоров и как тогда у пруда, где пела смуглая поповна удалые песни, почувствовал в этом имени тихую музыку мягких гласных и протяжный гул безветренного счастья.

Закреть бы ей глаза, лечь бы у зарослей васильками межи, выплунуть бы с кровью из души всю гнусность, все тупики настоящего и запеть бы вот эти, Лялины песни — удалые, радостные, бесшабашные. Чтобы не было больше никогда, никогда ни кабаков ни допросов, ни бывших дворян. Ничего. Только глубокая чистота и солнце.

И вновь цепкой мутью залило голову и припадочно задрожали плечи. Хоров достал из саквояжа бутылку, выпил залпом. После вина не стало лучше — было оно уже немного прокисшее и плавали в нем кусочки пробки и сургуча. А рядом с остывшим чаем, на хлебе с маслом, лежали письма в простых серых конвертах и манили к себе приветливо и светло. Потому что были в их девичьем лепете кусочек и его Хорова, молодости, оттиск и его, Хорова губ.

"Пишу тебе в лесу, родненький мой. На



коленях у меня твоя книга "Толстой и Достоевский", Мережковского, да я ее не читаю — все равно не пойму. За день до твоего приезда и день спустя мне вообще читать ничего нельзя — хожу как пьяная. Только вчера ты был у нас и мне уже так грустно, что вот я пришла в лес плакать. Не сердись, хороший мой, но разве я виновата? Деревья шумят тихонько, трава такая зеленая и пышная. Я знаю, что ты на будущей неделе опять приедешь и я к пяти выйду на луг навстречу, но, Господи, это так далеко: вторник, среда, четверг..."

Следователь прижал к губам письмо — оно пахло пылью и как будто цветочным медом. Или это вырванное с корнем счастье засохло в простых, серых конвертах?

Было так хорошо и так горько, качая опрокинутой назад головой, считать дни: вторник, среда, четверг. Казалось, еще усилие, еще миг — и застынет судорога на скошенном, почти сумасшедшем лице. Запрыгают солнечные зайчики на мертвых стенах чужого дома: запнут двери: побегит по коридору суетливая, добрая, нежная толпа. Придет поповна с желтым бантом в косе, с вишневым вареньем, с прошлогодней "Нивой". Придет смуглая и ласковая, стиснет его холодные пальцы и скажет: ну, пойдем к пруду... видишь, ромашек сколько... ты не грусти, не дуйся... ничего этого нет... ни крови, ни высших мер, ни допросов... просто при-  
снилось...

Колыхнулась штора у окна. Хоров мутными и страшными глазами впился в колеблющиеся складки. Кошка. Никого не было в комнате. Кошка. Зловеще шагала тишина. Кошка.

— Пш-ш... слушай, уйди, уйди... — застонал следователь.

Кошка сидела неподвижно. Черная. От глаз — зеленые острые дорожки. Что она хотела и откуда она? На столе конверты с кровью. Простая серая кровь.

Осторожно крадучись, как-то странно поджимая правую ногу, схватил следователь стакан и бросил в окно. Тонкое лопнуло стекло, промокла штора. А кошка мохнатой птицей перелетела на шкаф. Черной плетью свесился хвост. И опять — зеленые иглы глаз. И некуда уйти.

Зеленый, немигающий, тяжелый огонь капал из глаз. Зеленый.

— Ты? Я забуду... что?... это девушки все... ти-ти-ти...

Он подбежал к шкафу и сильным ударом плеча опрокинул его. Заохало эхо глухо: рассыпались книги и, прыгая, покатился по полу большой золоченый орех — елочный. А она — вот на подушке белой. Черная. Зеленым колесом кружились глаза. Простит?

Нет. Спотыкаясь о книги и стулья, бросая на кровать все, что прыгало в затуманенных глазах — кресло, пустую бутылку, саквояж, салфетку, спички — все равно, все равно! — Хоров загнал кошку в угол. Паутина. Чьи-то туфли ночные. Пусть. Туфли. Вырвал из кобуры наган, и, стреляя в царапающий руку черный комок с зелеными глазами, закричал, по-детски забрасывая назад голову: — "а-аааа!".

Былой, милой, наивной нежностью дышали на пыльном полу простые серые конверты.

Петербург, 1922



## Т Р О Е

(Из "Книги Былей")

Лестница была узкая, круглая, вся в ломающемся стекле замерзшей воды. Чтобы не упасть, Клавдия Алексеевна всегда держалась за перила, тоже обмерзшие, и осторожно ставила на истертую ступеньку ногу в кухаркином валенке. Кухарки давно уже не было и ничего уже не было. А вот валенки — искривленные, с парусиновыми латками на расплывшихся носках — почему-то остались.

Лестница была узкая, крутая. А на верхней площадке, прислонившись к маленькой, обитой клеенкой и войлоком, двери, Клавдия Алексеевна стояла обычно несколько минут неподвижно, дыша тяжело и часто. Потом дрожащими руками вкладывала в замочную скважину ключ, дверь открывалась с густым и грустным кашлем. Из передней, из темной комнатки за ней плыл раздражающий запах сырости.

С кашлем открывалась дверь, ударяясь сломанной ручкой о стол, неизвестно к чему и кем поставленный у самого входа. Впрочем, на нем жил, доживая последние дни, третий и последний обитатель этой квартиры — дог Буль. Лет двенадцать тому назад его купил в Лондоне, на собачьей выставке, покойный генерал, привез в Петербург в плетеной корзинке. Стоил он шестьдесят фунтов, имел аттестат с целым рядом надписей и печатей и две медали — одну серебряную, другую — золотую, с вытесненным на ней годом — "1910". Первую медаль взяли при обыске, на вторую, запятанную генеральшей в дымовую трубу, Клавдия Алексеевна выменяла два возка дров с полсотней яиц, оказавшихся тухлыми. Аттестат бросили

на старой казенной квартире по Миллионной, где вообще все бросили.

На стуле день и ночь, не слезая лежал Буль, следя стеклянеющими глазами в одну точку — на проволоку бывшего когда-то звонка. Нервно вздымалась на груди вылезшая шерсть, вдоль хребта ходил взад и вперед какой-то комок — собачий тик. Увидев генеральшу, Буль тихонько шевелил лапой, жалобно взвизгивая. Клавдия Алексеевна, согрев дыханием руки, с трудом подымала его и несла в комнату, низкую, холодную, где жили они трое — Буль, генеральша и ее сын, Юрий, чахоточный юноша, рисовавший плакаты для цирка и кабаре.

На ящике у чугунной печки Буль успокаивался и, оскалив беззубую челюсть, смотрел в огонь немигающими глазами. Половина окна пропускала в комнату скудный зимний свет: другая половина, с разбитым стеклом, была забита мешками с соломой. Холодок острой струей шёл от нее к двери, чуть шевеля шерсть на спине Буля. Генеральша, не снимая пальто, переделанного из генеральской шинели, чистила непослушными руками мерзлый картофель, варила его в большой жестяной кружке, думала о чем-то, вероятно нерадостном, потому что то и дело по морщинистым щекам текли слезы в кружку или на уши дога. Буль, неподвижно смотрел на догорающий огонь.

В половине седьмого приходил Юрий. Он долго топал ногами в передней, стряхивая с сапог снег: потом, войдя в комнату, молчаливо целовал матери руку и гладил собаку по вытянутой вперед лапе. Обедали тоже молча — Клавдия Алексеевна с сыном за столом, сколоченным из досок с темно-коричневой меткой "Чай К и С". Буль — на ящике у печки. Когда Юрий проводил рукой

по лицу с прозрачной синеватой кожей, генеральша спрашивала, наливая ему в картофельную гущу подсолнечного масла:

- Устал, мальчик?

- Немножко, мама.

Глаза у Юрия были отцовские - небольшие, странно-зеленоватого оттенка, окаймленные густыми ресницами. Весь он вообще так ярко напоминал все то, что никогда не вернется. Каждый раз, встречая взгляд этих родных, так неминуемо явно потухающих глаз, Клавдия Алексеевна против своей воли думала о недавнем, о страшном, об убийстве мужа озверевшей толпой, о разгроме всей жизни, всего смысла жизни. Думала также о том, что через три-четыре месяца Юрий сгорит, умрет на ее руках. Чем больше думала об этом, тем больше были эти думы и тем чаще приходили они. Но нельзя было показать своего отчаяния, и Клавдия Алексеевна старалась казаться спокойной. Только, когда сына не было дома, она, заливаясь слезами, говорила Булю:

- А Юринька скоро умрет. Что мы тогда будем делать? Буль, Буль...

Буль спал, и генеральша переводила разговор на более ему понятную тему:

- Буль, хочешь на Миллионную? Завтра мы переедем на Миллионную. Юринька там поправится. Юринька обязательно выздоровеет на Миллионной.

И Буль, услышав знакомое название родной улицы, широко открывал круглые глаза. Порой даже на них медленно катилась совсем настоящая, совсем человеческая слеза.

После Рождества Клавдия Алексеевна неожиданно слегла, простудившись на толкучке, где продавала шнурки для ботинок, мазь, резинки. Лежала молчаливо в комнате с разбитым окном, гладила Буля по спине

с перекатывающимся тиком. Покорно рассыпались по подушке седые волосы, накрыв белой паутиной старые кружева, накрыв смешную маленькую коронку с вензелем "КР".

Юрий рисовал дома свои плакаты, кричаще-пестрые, зазывающие карикатурными руками клоунов, кровавыми губами танцовщиц. До глубокой ночи мерцала на столе керосинка и бегали по картону длинные иссиня-желтые пальцы. Набросав кисточкой колпак, цирковую наездницу, китайскую шкатулку фокусника, Юрий оглядывался назад, спрашивая тревожно:

- Ну, как, мамочка? Не лучше?

- Не лучше, мальчик. Горю вся.

Был и доктор, круглый, веселый старик в черепаховых очках. Он, беспрестанно балагурия, прописал что-то, советовал переменить комнату, хорошо питать больную, обещал навеститься еще. Но ему не смогли заплатить за визит, и доктор больше не пришел. А острая простуда отразилась на легких Клавдии Алексеевны, давно уже нездоровых. Генеральша быстро обессилела, как-то сморщилась вся, стала совсем маленькой. На истлевших кружевах, на смешной коронке наволочки появились алые пятна крови. Когда Клавдия Алексеевна, задыхаясь в кашле, сжала рукой безжизненную голову Буля и изо рта ее потекла пена, смешанная с кровью. Юрий стал на колени у кровати матери и, прижавшись к ней влажным лицом, сказал совсем просто:

- Мамочка, ты еще не умирай. Подожди еще, мамочка. Вот мы все вместе - ты, я и Буль. Нам немного уже осталось. Втроем и перестанем жить - ты, Буль и я.

Услышав свое имя, Буль взвизгнул и замахал обрубком хвоста. Клавдия Алексеевна, отдышавшись, поцеловала руку сына, изма-

занную синей краской клоунского колпака и алой — ее крови.

— Я не спешу, мальчик. Я обожду. Да, все вместе.

А утром она умерла. Юрий сколотил гроб из трех ящиков — двух из под стола, третьего — кровати Буля. Как-то вышло, что как раз у головы мертвой оказалась темно-коричневая метка "Чай К и С". Внутри гроб был обит последним, что нашлось в опустевшем чемодане — скатертью и полотенцем с той же маленькой коронкой.

Когда Клавдию Алексеевну сносили вниз, Буль забился в угол, смотря испуганными глазами. Юрий крикнул ему из передней:

— Буль, пойдем хоронить маму.

Дог выгнул одну лапу, другую, качнулся всем телом и, переваливаясь пополз по ступенькам вниз. Гроб уложили на ручные сани, веревкой, проходящей через "Чай К и С", прикрепили к полозьям.

Падая крупный предвесенний снег. Позванивали на соседней улице трамваи. Звонкий детский голос кричал на углу:

— Папиросы первый сорт! — и эхо отвечало протяжно: э-в-о.

Секретарь домкома и сосед-сапожник, помогавшие сносить гроб, перекрестились и ушли в дом. Юрий, с непокрытой головой, шатаясь от боли и слабости, повез мертвую мать по белому полотну снега на кладбище. За санями, за темно-коричневой меткой "Чай К и С" медленно брел Буль, утопая в рыхлом снегу. Когда прохожие останавливались, с грустью или со смехом осматривая странную процессию, Юрий еще ниже опускал голову. Буль еще сильнее полз за гробом.

Оттащить его от могилы не могли: дог лег на снег, остался на кладбище и замерз той же ночью.



Юрий умер через неделю. Цирковой осел, возивший по городу будку с наклеенными на нее плакатами Юрия, отвез его тело к матери, к Булю в рыхлый пушистый снег, в другой, не наш мир, где может быть, хоть немножко тепло, хоть немного спокойно.

## Т А М

Мой затерявшийся в бескрайних полях город, такой старомодный, такой пыльный, такой прелестный... Широкие улицы, еле сдерживаемые рядами хрупких домов: прозрачные глаза окон, днем — серые, с белыми ресницами дрожащих занавесок, вечером — темно-темно синие, с яркими зрачками керосиновых ламп. Кривые доски тротуаров: над ними зеленые, мохнатые руки кленов и лип. Старый, сгорбленный собор над обрывом. Жизнь радушная, теплая, как солнце. Солнце, как жизнь...

А когда я проснулся, — в окно стучали капли чужого дождя. Чужое море билось в холодную стену скал. Чужое небо, мутной сталью висело над чужим городом. Где-то ходили, смеялись непонятным смехом, говорили на незнакомом языке чужие, непонятные люди.

И почему-то — странно скачет наша издерганная мысль! — вспомнил я эту грустную, такую обыкновенную в наше необычайное время, историю.

Историю маленького человека, кровавым сапогом вдавленного в выгоревшую землю моего далекого — далекого, такого пустого теперь и страшного города.

Павел... Павел Харитонович? Да, его звали — Павел Харитонович. Много лет служил он в казначействе, исписывал толстые книги цифрами, шелкал на счетах и был счастлив. Невысокого роста, чуть сгорбленный, с лицом таким, какие бывают на старых выцветших фотографиях, он так шел к нашим серым улицам, к пыльной площади у кладбища.

Бог не дал ему детей, ему и жене его, такой же милой, как и сам Павел Харитонович, и супруги всю силу своей искавшей выхода любви, обратили на двух собачек. Собачки эти — совершенно одинаковые, длинные, рыжие, на кривых лапах, помесь таксы с дворняжкой — всегда бежали впереди их мелкой размеренной рысцей, благовоспитанно виляя хвостами. Если Павла Харитоновича видели на улице одного, считалось чуть ли не долгом осведомиться о супруге: если оба они шли без собачек — собачки были больны или наказаны за какую-то шалость. Над этой дружной семьей добродушно подсмеивались, но и любили ее с той почтительной мягкостью, которую таила в себе русская глушь.

Теперь и ее нет, ничего нет...

За несколько лет до революции Павел Харитонович начал строить домик на Лисовской улице, где у него был купленный раньше клочок земли. Нанять рабочих он на мог — где столько денег взять? — и принялся сам за постройку.

— "Склеить две комнаты с кухней — не Бог весть какая сложная работа, да и знакомый подрядчик советами помогает" — говорил он.

Надо было видеть, с каким любовным усердием, даже нежностью "супруги с собачками" месили глину, клали кирпичи, белили, сутились, бегали по городу с просьбой "занять, ну — рублей тридцать до двадцатого, до жалования... Понимаете, все готово, только полы осталось выкрасить... пожалуйста!"

Наконец, скромный дом был выстроен, скромное новоселье отпраздновано, и с лица Павла Харитоновича сошло выраже-

ние неустанных забот и усталости. На воротах зазеленела долгожданная табличка "Дом Павла Харитоновича Ч." - из окон выглянули горшки с геранью и рыжие морды собак.

Время шло. Дремлющей стаей проплыли годы мира: звоном искрящейся стали прогремела война: пронесся смерч революции. Рушились троны: в муках борьбы рождались новые государства: В пропасть безысходного горя впадали миллионы великого, обманутого народа...

А в доме на Лисовской попрежнему бродила добродушная тишина, цвела герань и смотрели из окон собачки, немного, впрочем, похудевшие.

- "Смотрите, Павел Харитонович", - шутили иногда те, что не потеряли еще способности шутить, - "Отнимут у вас дом. Ведь вы буржуй, живете на нетрудовой доход. У вас, говорят, даже утки есть..."

Павел Харитонович удивленно поднимал брови.

- Никогда этого не может быть. Ведь сам, понимаете, сам, своими руками построил свой дом. На трудовую копейку, собственным трудом заработанную... А вы говорите - нетрудовой доход. Шутник вы, право...

Так в простоте сердечной думал маленький человек, потом и недоеданием создавший свое маленькое благополучие.

Но пришли большие люди. Люди, считавшие себя большими... Люди, не брезгавшие и такой копейкой - "с миру по копейке - коммунисту рубль"...

В прошлом году Павла Харитоновича "уплотнили", - вселили в одну из комнат беспокойную, нахальную семью, криками и

бранью наполнившую его безмолвный домик. Через месяц эта семья заняла и вторую комнату, вытеснив хозяев в кухню.

Павел Харитонович смирился, молчаливо перенес это горе.

Он ходил по двору еще больше пожелтевший и осунувшийся, утром и вечером убирал сор, выброшенный жильцами из окон, виновато улыбался, когда над ним грубо смеялись его неожиданные квартиранты и молчал, молчал. Только один раз сказал незлобно:

- "Вот вы рубите дрова в комнатах, портите полы... А мы с женой по ним лазили, сами грунтовали, красили... сколько труда... Если вам не хочется выходить во двор, то вот - на крылечке можно или в сенях..."

За это у него отняли кухню и милостиво разрешили жить в сарае. Быть может, и до сих пор они, четверо - два маленьких человека и две маленькие собаки - жили бы, тесно прижавшись друг к другу, в маленьком сарае под соломенной крышей, если бы большие люди не вздумали еще раз помутить над ними, лишить их последней радости - уток. Павел Харитонович аккуратно собрал под окнами перья - такой смешной! - пошел жаловаться кому-то, показывать вещественные доказательства кражи...

-...Его - выгнали со двора совсем - сарай нужен был для дров.

- "Фюйт! - свистнул ему вслед один из жильцов, - Жаловаться? Ах, ты лизун, буржуйский, крыса казначейская! Тоже домовладелец выискался... "Мой дом, мой дом!"... Какой это, дурак, твой дом? Народный, а не твой... Ну, при, при ко всем чертям, да не оборачивайся, а то еще в морду дам!"

А через два дня на базаре шушукались бабы: "...Вин дистав десь (где-то) ливорверт... убыв одного жильця, раныв трех... та и выбиг, як самаспедший, на вулицю... схватылы его, а вин плаче..."

...Павла Харитоновича расстреляли. Его жена сошла с ума. А рыжих собачек, кто-то в приступе жестокой жалости убил у родных ворот...



Девиз: Любовь сильнее смерти

## ТРИЛИСТНИК

### 1

"...Угол у синей, похожей на фантастический цветок лампы, отбит. По краям зазубренного стекла густой лентой течет свет — желтый, в синих бликах. Дрожащий язычок огня, тоненький такой, лижет пыльный угол комнаты, смуглой ртутью переливается в блестящей чашечке кровати, неяркой полосой бежит по столу.

Мне нестерпимо, до боли захотелось написать вам, далекий, хороший мой друг. Ведь всегда, в эту странную, немножко грустную ночь, мы были вместе. Будем ли, милый?...

Сейчас я одна в комнате. Мама осталась святить куличи в церковной ограде. Когда пропели "Христос Воскресе", стало как-то очень одиноко. Я вышла из собора.

Легкий ветер с моря, качнув еще голые деревья, подбросил вверх концы моего платка, — того, вывезенного из дому, с пушистой бахромой. Кланялись на паперти нищие, цветные фонарики плыли взад и вперед. Руки, державшие их, таяли в предутренней мгле, и потому казалось, что пестрые огоньки сами бродят по сырм камням, взлетая к небу.

Я бережно укутала горящую свечу бумагой и стала у чугунной ограды над городом, над морем, совсем не нашим, мутным.

Собор здесь выстроен на высокой глыбе, вздернутой над гаванью. Стены его



не закончены — кирпичные, а внутри как то не по нашему строго и холодно. Вы сказали бы, наверно, что в таком храме не мог Христос воскреснуть, что воскресаает он в покосившихся церковках, за царскими воротами, потускневшими от времени и поцелуев. И мы были бы неправы. Бог воскресаает везде, где есть боль. А здесь ее так много. Здесь ее слишком много, Колюшка.

Гулко ударил колокол. Будто ком звенящего стекла упал вниз, разбился на мостовой, посыпался поющей пылью. Я перекрестилась. Помните: Чего ты, Олюша, крестишься как столетняя монашка — мелко-мелко, будто шьешь что на груди?... и пошла по каменным ступенькам длинной лестницы.

Забелела дорожка тротуара. Неширокий мост бороздили облачные тени. Справа и слева от него сонно ворчал море. И вот так пустынно зашелестели мои шаги по скользкой набережной и так смешно свеча дрогнула в моих руках, что даже на минуту забыла о вас. Простите. Я нечаянно.

Теперь сижу у стола, над листком бумаги, вырванной из общей тетради. По-прежнему бледно пылает свеча, не могла я ее потушить. Только нарисовала дымным язычком черные кресты на дверях. Помните, как тогда...

Тогда мы бродили с вами до утра по всем церквям нашего удивительного города, а их было не мало. Девять, кажется. Нет, что я, десять: десятая — кладбищенская, святого Григория, с горбатой колокольней над могилой бабушки. Свечи у нас были большие, желтого

воска, переплетенные сусальными ленточками. И фонарики сказочных цветов и рисунков.

Последний раз вы склеили из красной слюды фонарь в виде креста, обагреного кровью. И сильное пламя зажженной внутри свечи алым заревом освещало ваше лицо, губы ваши, улыбку. Хороший мой, лучший...

Уж под утро, усталые и смеющиеся, возвращались мы домой, к нам. Все двери, окна и потолки метили расплывающимися крестами. Ворчала старая Феклуша: закону такого нету, чтобы все косяки чернить... потом прибирай за вами, баловники...

Если Пасха была ранняя - в окованном серебром хрустале голубели подснежники, иногда фиалки. К поздней Пасхе белым и лиловым пухом расцветала сирень. В деревянных корзинках (выпиливали их вы, надо сознаться, очень неумело, но как любила я их, Господи.) в деревянных корзинках пестрой горкой лежали яйца. В Страстную Субботу красили их мы все и много дней потом ходили с синими, зелеными и желтыми пальцами. А раз, помните, даже ваш "гордый римский нос", Колянька, Феклуша, сердясь за что-то, вымазала синим...

Брезжил рассвет, багровые капли звезд гасли в окнах столовой. В густом рокоте колоколов сходились все к столу. Много нас тогда было, живых. Теперь... Но я не об этом.

Разговлялись долго и радостно. Вы входили позже всех, христосовались с мамой, братьями, со мной. Был в застенчивом поцелуе вашем напускной холодок, хотя и слишком явно дрожала ваша рука, сжимающая мою. Потом чинно брали

себе душистый ломтик кулича, яйцо с кривым вензелем "Х.В." и сжимали губы с такой строгостью, будто поцеловали меня впервые.

Как вам кажется: знала ли мама или не знала, что в ту ночь мы христосовались с вами до и после каждой церкви. А их ведь было девять, нет, десять. Я думаю, что знала. В том городе где она выросла и любила, было семнадцать церквей...

Здесь только две церкви и вас нет. Мама стала совсем дряхлой, я пока креплюсь. Не знаю, долго ли еще будет над нами чужое небо, но верится, пусть и с мукой, но верится в благость Божию. Ведь не может быть. Не может этого быть, чтобы навсегда отошло прошитое, фонари сказочных цветов, наши пальцы в краске, вы. Самое главное — вы...

Погасла свеча, догорела. Не большая она, не желтого воска, без сусальных ленточек. Та давно уже растаяла. Тоненькая белая свечка, какие горят над гробами.

Полутемно. Скоро придет мама. Мы станем на колени перед иконой с отбитым углом, попросим Божию Матерь, держащую в прозрачных руках сегодня воскресшего Сына, вернуть нам былое. Пусть даже не все, пусть даже с отбитым углом.

Потом сядем к столу, я постараюсь не плакать, милый, и разговеемся, вспоминая вас. Ведь и сырную пасху, и куличи, и окорок, и маленькую коробку шоколада, и бутылку дешевого вина дали нам вы, любимый мой: мы продали кольцо, когда то подаренное мне вами. Помните, лежало оно в эмаливой пудренице, тоже

вашей, с надписью из гранатов "Ольга". Пудреницу продали в прошлом году, мамины серьги в позапрошлом...

Если в нашем саду уже расцвела сирень, придите в него ночью, когда не будет там чужих, отнявших его у нас, людей. Опустите в душистый белый пух голову, скажите моим цветам, моим аллеям, всему моему: "Христос Воскресе!" И, став на колени у тонкого ствола, помолитесь русскому Богу, Богу покосившихся церковок и зацелованных икон, о всех страждущих и обремененных, всех ожидающих великой и богатой милостыни. Помолитесь о вашей Ольге, крестьящей вас и благословляющей за бурную радость минувших лет, за баюкающую бодрость ваших нынешних писем, редких, но непередаваемо дорогих, таких же любимых, как и вы сами, мой хороший, мой лучший друг..."

## 2

"...У вас Пасха по новому стилю, у нас — по старому, и я получил Ваши грустные листки в Страстную Субботу. Будто вместе мы сидим под лампадой вашей с разбитым углом, будто и не расставались. Я прижал к губам страничку из общей тетради с мутными круглыми пятнами по краям (зачем вы плакали, Ольга?), а в Троице ударили в колокола. Берег заплаканное письмо, не распечатывал до полуночи. Когда вышел из царских врат отец Петр, трижды сказал напевом: "Христос Воскресе!" — ответил ему и вам, кусочку души вашей, письму, — "Воистину". С крестным ходом протискался на паперть, оставив своих в притворе. Свои, это... Скажу как нибудь, не теперь.

Ваш сад сейчас же, за оградой. Недавно калитку прорубили в заборе. Ведь там, среди сирени вашей, дряхлых яблонь, давно заросших клумб — театр выстроили. Стоит он на крокетной площадке. В саду, теперь городском, всегда они. На открытой сцене театра, когда тепло, — визжит гармошка, пьески ставят о новом: зимой митинги... А беседку вашу, чудесную пагоду со смешными божками у входа, сломали на дрова. Пощечину эту вашему детству, всей жизни вашей я долго-долго, Ольга, носил в сердце. Шесть лет тому назад, в ночь на второе июня, сгоревшие теперь божки слышали, как сказали вы, ласковая девочка: — "Ну, разве надо спрашивать? Люблю, конечно". Это было только шесть лет тому назад, а у меня уже седые волосы на висках. НЕ от старости, странно было бы сидеть в двадцать восемь, а вот — театр этот, пагода, вы у далекого моря. И больше всего то, о чем рассказать не могу себя заставить, так это больно.

В ту ночь, в пасхальную, никого в саду не было. Только Карп, кучер ваш, он заведует теперь усадьбой и домом, превращенным в партком, при свете костра прибавил к поставленному на сцене кресту, икону, замазанную чем-то красным: на завтра готовится их Пасха.

Закрыв глаза, я прошел мимо. Было очень холодно, сыро. Качались кудрявые шапки вишень. Ноги приставали к вязкому песку дорожек.

Шел я к ней, скамейке нашей у вытопанной малины, и чувствовал, знал, что вот за скамейкой-Вы. Как раньше, в белом, родная, как раньше. И не то, от пронизывающей сырости, не от нахлынувшей

вдруг волны тяжелого горя, но заблудился я в таком знакомом саду. Может сил не стало идти. Сел я на чуть зазеленевший дерн. А листик из общей тетради — в крепко сжатой руке. И стало вдруг неотвратимым, вечным, что люблю я вас больше прежнего, и что никому это не нужно. Не то — нужно, конечно, нужно вам, мне, но совсем бесцельна любовь эта, и грех несмыаемый. И то, что сердце у меня, правда, это совсем замученное — боль напрасная, даже оскорбительная для вас, как сожженная беседка. Потому что..... Простите злоупотребляю многоточиями. Мысль как то все рвется. Тогда в пасхальную ночь, я упал головой в мокрый песок, думал, что пройдет.

Карп вбивал в украденную икону гвоздь, костер бросал тень огромной руки на меня. Только казалось, что молоток бьет по мне, а я слышал глухой стук заржавевшего железа по вашим глазам, по родинке на левой щеке. И будто я тоже бил, не хотел, не мог, а бил. Письмо со следами ваших слёз белело на песке. И подумалось: кусочек платья, в котором она сказала мне: "Ну, разве можно спрашивать, люблю, конечно".

Ольга, не с повинной головой тяну к вам руки, а срубленной. Не пишите мне больше. Навсегда отошло прожитое, наши пальцы в краске, вы, самое главное..... вы. Больше нет Коленки, друга вашего любимого. Не ваш он уже. Есть только горькая правда, да вот слёзы мои над тем, что я сделал над собой и над вами, Ольга!

В комнате, где я пишу эту бессвязную, глухую исповедь, спит женщина, которую вот уже третий месяц называю женой. Случайная близость, пустые встречи в саду, в вашем саду, легкомысленная игра с ней, завершились обладанием, мне не нужным, мне противным. До этого, клянусь вам всем, что у нас осталось святого, любви не было, потом пришла жалость и веление долга. Эта женщина ног ваших целовать недостойна. Заменить ею вас мог только сумасшедший: меня или сделало вино, которое в тот вечер пил от тоски по вас, от любви к вам, от безысходного одиночества, от долгих лет бесцельной нежности, которую некому отдать, которая переливается через край.

Женщина, спящая рядом со мной, с теми, кто сжигал вашу беседку, кто рубил ваш сад. С ней мне не о чем говорить, думать не о чем. Жить с ней мне просто больно. Но даже в минуты глубочайшего отчаяния, когда становится совершенно не вмоготу, когда хочется, бросив все и вся прокляв, бежать к вам, к вам, жизнь моя, молодость моя, кто то там, внутри шепчет: ты должен! — И я, корчась от боли, остаюсь. И знаю, что никуда уже не уйду, что суждено до конца искупать тяжелой ценой минутное безумие...

3

"8 сего мая в час дня скоропостижно скончалась от разрыва сердца Ольга Сеггеевна Трубова, о чем извещает убитая горем мать."

## НОВЫЕ ГОДЫ

31 Декабря 1917 года.

Если много думать о счастье, если очень хочется счастья, оно начинает сниться. Если цепко верить в счастье, — слышен шелест его крыльев.

Вчера мне снилась огромная птица с такими нездешними глазами, что под ее сверкающим взглядом, на снегу сухом и бескрайнем, расцветали цветы, тоже неземные, странные. Радужным парусом плыла волшебная птица по синему морю неба, в человечьи сугробы сыпала Божьи жемчуга. Я низал их в длинное ожерелье, целовал их бледно-розовые угольки, перебирал как четки.

Вчера мне снилось странное счастье. И потому так гулко стучит сегодня непростительно-молодое сердце. И потому так доверчиво следят наивные глаза за часовой стрелкой, бегущей к 12-ти.

Прогрохотал год, непохожий на другие. Чья-то неумолимая рука вздернула весь край мой вспененный. Многие сгибло, многие.

Но та же тихая жизнь ходит по улицам-просекам южного городка. Сонный сторож бьет в сонную доску. Так же горят звезды.

Желтые языки свечей у пианино в желтой комнате — те, что и раньше. Светлое золото в заветной бутылке шампанского — ах, как мне дороги сегодня все буржуазные предрассудки — остро искрится.

Пусть -- революция. Молодость и безрассудная жажда счастья выше миро-



вых сдвигов. Мягким баритоном поют часы: - 12. Звенит стекло, голоса звенят...

- С новым годом, мама, все вы близкие, верящие! С новым годом, все дальние, невидимые! С новым годом, Русь бурлящая! Вселенная, с новым годом!...

Вчера мне снилось такое странное счастье...

31 декабря, 1918 года.

Кто сегодня власть, разве важно? Разве важно, что вчера, изрезав морозную тишь дробью выстрелов, в ночь истории ушли петлюровцы, сменившие высокородного пана Гетмана!

И что завтра нетрезвой лавой разольются по улицам-просекам старосветского городка - большевики.

Мы все теперь нетрезвые... Не то от самодельного вина из черной смородины, мутного и кислого, не то от слишком быстрого бега событий, не то от нудной долгой усталости. Не разберешь.

Зеленые квадраты светящихся окон разбегаются по площади дрожащими полосами. В душном зале уездного земства шумно и фальшиво-весело. На эстраде - оркестр из семи человек Еськи Лохвицкого, он же парикмахер и набивщик папирос. Подслеповатый Еська молитвенно дует в хрипящую флейту, и нелепо колышутся фалды его фрака времен Севастопольской войны. Завтра новый год.. надо казаться веселым. В табачном дыме пляшут вышибленные из жизненной колеи люди: у буфета стойко глотают денатурат те, кто завтра проглотит за кладбищем

- местом упокоения всех буржуев - советскую пулю. Некто безобразно-пьяный, некогда бывший тонким художником, выкрикивал:

- Одеколон, силь воус плайт!

- Удивительно, - говорит мне та, которая так часто похожа на птицу с нездешними глазами, - удивительно, что у Владимира Павловича французские слова приобретают английский оттенок...

По-моему, это совершенно безразлично: английский, малайский или санскритский! Главное, - это сбросить с себя на миг, на час угрюмую тоску. Завтра новый год, надо верить в невероятное, в сладкие капли счастья...

31 декабря, 1919 года.

На станции Крематорская получилась железнодорожная пробка, и мы не успели проехать в Ростов прямым путем. Повернули направо, через Крым, оттуда морем на Кубань, к полку.

Сквозь задымленные двери вагонов - "ни одной лошади, но зато 70 людей" - изредка слышали рождественский звон в деревенских церковках, очень густо крестились, в консервной жестянке варили невкусный кофе и много думали о том, чего уже никогда не будет. И была в этом "никогда" такая боль, что, тайно друг от друга, молились по ночам:

- Боже, возьми меня к Себе!...

С пулеметами на площадках - всюду бродили махновцы - проехали бедные станции Приазовья, Сиваши, Джанкой.

Симферополь, вокзал. Полутемно. На стульях, на столах, на скамьях, на полу тревожно спят люди в английской

ветоши. Черная стрела огромных часов остановилась на двенадцати.

- А ведь завтра новый год, - вспоминает вдруг мой брат Павел и будит старшего брата Михаила - (помяни их, убиенных, Господи, егда приидеши во Царствие Твое!)

Быстро, как будто действительно мы верим в счастье и в новый год, идем к буфету, теплое пиво разливаем по грязным стаканам.

- Ну, всего!... - говорю я, глотая горьковатую воду. О новом годе, о новом счастье как-то неловко и вспоминать...

31 декабря 1920 года.

В сказочные времена, то-есть года четыре тому назад, в этих огромных комнатах бегали девочки в форменных платьях, о любви и о высших курсах мечтали выпускные, чинно плыли классные дамы, инспектриссы и директриссы, заливались звонки в длинных коридорах. Кажется, и до сих пор сохранилась на фронтоне надпись из серого камня:

**МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ КАЗЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ.**

А теперь здесь "ГОРОДОК ВОЕННЫХ", находящийся под особым покровительством Ч.К.

В трехэтажном здании шесть неразбитых окон: топим на обгоревшем полу, бросая в ураганные костры парты и доски: едим "свое": два раза в неделю разрешается ходить по городу с сумой - все равно полуголый, без документов, из оцепленного стражей города не убежишь. С каждым днем все труднее наш горький промысел: больно уж нас много здесь,

тысячь двадцать. До поздней ночи, босиком в снегу, ходишь, а принесешь "домой" — две-три корки.

Полковник О. всю дорогу от Таганаша в Мелитополь, молчал и пронес во рту небольшие золотые часики. Корнет Д. пронес значок первого Кубанского похода в волосах. Осторожно вынимаем из трубы недействующего отопления, смотрим...

— Без пяти двенадцать.

— Позавчера я выпросил молока, — шепчет полковник — по анкете — старший писарь — к сегодняшнему дню берег. Выпьем... Не за новый год, не за счастье, а так — за жизнь... Выпьем, товарищ денщик! В анкете, семнадцатой по счету, в графе "чин и должность" я написал корявым почерком "денщик командира полка".

Пью замерзшее молоко, а сердце, по образному выражению Инокентия Анненского, "счетчик муки, машинка для чудес" — так несказочно болит...

31 декабря, 1921 года.

Какая разящая разница: тогда, лет восемь тому назад, заревом огней пылал Невский, бурлила таинственная — толпа всегда таинственная — цепь человеческой волны, цокали копыта рысаков, ревели автомобили, кружился снег, такой неповторимо — белый. Теперь пустынно и страшно на главной улице блистательного Санкт-Петербурга, вой выстрелов и слабые крики в переулках. А снег летит. Не тот — неповторимо белый — не тот. Тяжелый. тающий, серый снег... Дома, в высокой комнате по Литейному, тоже пустынно: керосиновая бутылка на подо-

коннике, стол из ящиков, двуногий диван темного, изорванного шелка в стиле Людовика ХІУ. Прости Король-Солнце! и вездесущая буржуйка весьма капризного нрава — всегда дымит. Вот и все. Но после подвалов ЧК — замком сказочной принцессы показалась мне эта нищая комната. Только сегодня я заметил, что не всегда приятно, замерзнув в канцелярии, садиться верхом на кашляющую печь, что двух фунтов прелого хлеба не может хватить на неделю, что нет у меня книг, ни покоя, ни той, что похожа на птицу с нездешними глазами...

В ночь под новый год хочется хоть брызгов былого, намек на уют и радость. А если нет их, солнечных брызг, надо лечь на двуногий диван, закутаться шинелью, мешками и портьерой, вспомнить вырванные с корнем годы. Пусть приснится она — жизнь отгоревшая. — С новым годом, сон. С новым годом, поэт мой бессмертный...

31 декабря, 1922 года.

— Глупость, все эти новые годы! Ну, чем отличается сегодняшний день от вчерашнего? Абсолютно ничем. Просто условились делать вид, что верят в чепуху. Я, если и пью, то только потому, что вообще любитель алкоголя, будь то даже эстонский спирт, — говорит кто-то из них, из чужих, из случайных.

— Как хорошо не верить, считать то новое, что движется на нас, просто первым января. Вера обязывает, жжет суровым огнем и жалко отцветает, обманывая. Безверье искренно, безверье — мудрый друг, вера — безумная невеста... И, может быть, он прав, хихикающий любитель алкоголя.

- Он лжет, - говорю сам себе тихонько и, сквозь табачный дым, вижу живые и мертвые глаза тех, кто даже под пулей - верил. Кто знал, что не умирает счастье, а только прячется в пещерах, недоступных земным ураганам, что грянет час и над бешеным миром затрепещут крылья Жар-Птицы.

- Пью за тебя! - беззвучно кричу я грядущей птице, - пью за страну обетованную, пью за близких и далеких, пью за ослепших от слез матерей, за сгорбленных отцов, за идущих по миру детей, пью за правых, за живых и умученных!

31 декабря 1923 года.

И вот опять...

Высокое окно глядит во двор синим квадратом. Тонкий пласт снега ползет с крыши... Вон, левее четкого зигзага трубы, боязливо зажглась труба. - Видите, - кроткая какая! Таких мигающих камней много на пальцах Богоматери.

Горит звезда дальняя. "Далекая" - бежит по бумаге бесшумное перо и останавливается у края... Знаю - в капле чернил, на острие пера сверкающий рой нетерпеливых слов: разбежится снова острая сталь, - и покроет шуршащую бумагу новыми строками о звездах тихих, о дремлющем вечере, о грустной грусти..

Но слов не надо. Пусть тлеют звезды в горниле неба, пусть плачет грусть - слов не надо. Подумаю о чем-то хорошем, ласковом, стыдливо подойду к окну, обожгу горячее лицо влажным холодом стекла и, вглядываясь в звезды - камни на пальцах Божьей Матери, скажу так, как говорят только бездомные, безродные, юродивые во Христе, скажу с горьчайшей мукой и просветленной радостью:

- Боже, услыши нас! Ты видишь - общей могилой стала земля Твоя, Русь Твоя благостная изрыта миллионами Гологоф. Боже, услыши нас! Море слез из выпланных глаз льется сегодня на древние иконы в домах Твоих пресвятых, небывалым горем раскалены губы тех, кто с непререкаемой верой в милость Твою целует сегодня лик Твой. Мы растеряли по долгим, по черным путям все силы, всю волю, всю жизнь. Боже, услыши нас! Осени нас в ночь эту великую, миром, хоть немного радости забытой пошли! Поведи нищенку Твою - Россию - по новой тропе нового года, новых лет, к жизни новой. Боже, услыши нас!...

"Русские Вести", Хельсинки 1929

## МОЕМУ ВНУКУ

— Я не знаю, каким ты будешь: смуглым или золотоволосым, скрытным, с деланным равнодушием серых глаз, или с глазами синими и душой открытой, как кусочек весеннего неба в тяжелом полотне туч, жестоко ли заколотишь себя в дымном склепе кабинета, или, махнув беспечно рукой на чины, ранги и ордена, до заката своих дней просмеешься на чердаках богемы.

— Я даже не знаю, будешь ли ты вообще, — как приподнять завесу будущего? Уже из этого факта, что ты сын моего несуществующего сына, можешь заключить, каким безнадежным мечтателем был твой странный дед.

— Иногда, вот и сегодня, мне кажется, что ты весь будешь в бабку, тоже еще пока находящуюся в проекте: чуть чуть нелогичный, с пухлыми пальцами и сердцем тоже пухлым, вечно ребячьим: в детстве будешь часто падать, плакать крупными каплями слез, и любить бутерброды "на три канта", т.е. в три этажа... Потом вытянешься, закуришь потихоньку, в промежутках между изучением



семнадцати наук будешь бить головой футбольный мяч или мячом голову — к тому времени правила игры изменятся, как и все вообще, — скажешь какойнибудь девочке играющей в девушку — "я вас люблю" и радостно подумаешь: "я совсем взрослый"... Потом... Вот по поводу этого "потом"... я и хочу поговорить с тобой, мой милый внук!

— В самом деле, что будет потом? Это так просто: тебе раза два изменит любимая женщина и раза три не заплатит по векселям лучший друг. И ты попробуешь приставить к виску нехорошую штуку, которая у нас называется револьвером. Или для переселения в иной мир у вас будут выдуманы особые радиоволны?

— Пусть так... Пытаясь прожечь себя радиоволной, ты обязательно подумаешь, что жить не стоит, а если будет в тебе особый вид недуга — равнодушие к цитатам, то ты скажешь не без трагизма: "А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг — такая пустая и глупая штука".

Вот тогда-то и вспомни совет деда: умрешь ли ты, или все это так нарочно, жизнь беспредельно хороша! Брось радиоволны, радиоревольверы, радиояды... Самая прелестная в мире женщина и самый большой на свете вексель, — микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни.

— Дышешь ли ты сейчас пылью сенатского решения за 1963 год, или дешевой пудрой какойнибудь остроглазой Зизи, — и в пыли архива и в пудре твоей случайной подружки пахнет тем, что безгранично выше минутных горестей и разочарований — жизнью. Не комкай же ее, не проклинай, не рви!

Мы, то есть все те, кто отошел уже в вечность, — сходи сегодня ко мне на могилу и принеси цветов, только не красных, — мы всю жизнь свою ныли. Смешно сказать: пережарит ли кухарка жаркое, падут ли 0.003 акции какого либо банка, случайно купленные и полу-забытые, немного суше, чем обычно поздоровадается она? — мы неизменно ворчали:

— Ну и жизнь! Вот бы ктонибудь перевернул ее вверх дном! Теперь ее перевернули. Кажется надолго. Десятый год, мировые акробаты, стоим на голове у края черной бездны, бывшей когда-то Россией. И только теперь, только блестя налитыми кровью глазами, мы поняли наконец, что "Ну и жизнь!"... — была настоящей жизнью, что мы сами превратили ее в скачку с препятствиями на сомнительный приз, пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя. Еще в школе ты читал в учебнике истории, что вторую русскую революцию — некоторые называют ее "великой" — подготовили социальные противоречия и сделали распутившиеся в тылу солдаты петербургского гарнизона. Не верь! Революцию подготовили и сделали мы. Революцию сделали кавалеры ордена Анны третьей степени, мечтавшие о второй, студенты первого курса, завидовавшие третьекурсникам и наоборот: штабс-капитаны до глубины души оскорбленные тем, что Петр Петрович уже капитан, добродетельные жены, считавшие верность занятием слишком сладким и жены недобродетельные, полууверенные в том, что изменять своим мужьям — довольно горько, учителя математики, презиравшие математику и всем сердцем любившие чтонибудь другое, судебные следователи,

страстно мечтавшие быть послезавтра прокурорами. Революцию сделали те, кто хныкал с пеленок до гроба, кто никогда и ничем не был доволен, кому всего было мало, кто в девяноста девяти случаях из ста, жаловался, брзжал и ругался так сказать — по инерции... А сделав революцию, мы с безмерной болью — ты не поймешь этой боли, милый мой — убедились, что у нас была не воображаемая, не мифическая, а действительная жизнь, теплая, ласковая, богатая, чудная жизнь.

Теперь ничего нет, мы сами себя ограбили. Тебе, пронизанному жизнью, солнцем, уютом семьи и родины, тебе трудно представить, что значит бродить по чужим дворам, никогда не смеяться, душу свою живую, человеческую душу, вколачивать в тиски медленной смерти. Как же нарисую тебе протянутое по всему миру полотно, вышитое нашими нервами?

Когда я смотрю на карие, черные, синие глаза тех, кто вместе со мною стучится у чужих ворот, мне кажется, что это — карие, черные, синие чашки слез. Вероятно, потому мы так осторожно, пугливо ходим — боимся пролить.. Если бы нашелся такой чудак, который устроил бы выставку русских улыбок, — произведения наших губ были бы по очень высокой цене раскуплены матерями капризных детей: этими судорожными гримасами они пугали бы шалунов так, как нас пугают Чекой, ты не знаешь, что это такое? И не надо знать! Ваши химики, конечно, уже изобрели способ концентрации любого из человеческих, чувств, — своего рода сгущенное чувство. Так

вот, если бы сконцентрировать в одной точке весь русский стыд наших лет, всю нашу боль и палящее сожаление об утраченном, вселенная обогатилась бы таким острым алмазом, который резал бы голубое стекло неба.

Что ж в сравнении с этим бешеным камнем — изменившая тебе даже два раза женщина, или друг, не заплативший по векселям хотя бы трижды? В мире так много прелестных женщин, даже кажется, будто их слишком уж много для одной жизни! Исправных должников, особенно в кругу друзей, правда — меньше, но их, если хорошенько поискать, найдется не мало.

А жизнь одна. Сдуй на минуту архивную пыль сенатского решения или пудру Зизи и пойми: жизнь одна! Не двадцать, не миллион, а одна! Не комкай же ее, не проклинай, не рви!

Пусть сослужит радиояд медвежьё услугу тому, чей дед был мудрым человеком, то есть любил то, что было ему дано небом. Внуки же клеветавших на жизнь нытиков должны ценить всякую жизнь, ибо всякая жизнь играет поистине Божьим огнем.

Не гаси же его, дорогой внук! бережно неси его до заката дней своих, не раздувая по жизненной жадности. Штудируй сенатское решение за 1963 год, не рвись за 1964: будь доволен Зизи! — Какая-нибудь Мими обманет тебя двадцать два раза. Не ной, не хныкай, не брюзжи, чтобы не очутиться у разбитого корыта, как твой вздорный дед. Не опрокидывай жизни вверх дном!

И не делай революции... Бог с ними!

"Сегодня", Рига, 1927 г.



## О МЕЩАНСТВЕ

Если серьезно подойти к вопросу о завоеваниях революции, главным из них (если не единственным следует признать ненависть к революции и, как следствие этой ненависти — немного грустную, немного стыдливую любовь к прошлому и слишком позднее раскаяние в том, что бывшее золото жизни мы так неразумно разменивали на дырявые пятаки житейской пошлости.

Целую грудку таких медяков оставили мы на родных пепелищах. В том же пепле брошено и начало наших мелкомонетных благоглупостей, некогда отравлявших нашу, право же, хорошую жизнь. Я говорю о своеобразном недуге русского интеллигентного — или мнившего себя интеллигентным — общества, недуге властно вкоренившемся в нас с молоком матери. Если бы существовала специальная наука по изучению и классификации общественно-бытовых болезней, этот недуг был бы назван боязнью мещанства, своего рода мещанофобией, мещанобоязнью.

Вы помните, конечно, этих набитых пустотой и пресным "эстетством" людей, которые и денно и ночно попугаивали: — Ах, это такое мещанство, провинциализм, моветон!

Еще никем и никогда не было доказано, что столица, собственно, и составлявшая в изобилии подобного рода двуногие граммофоны, нашла ключ к правильному уразумению житейской мудрости: наоборот, многочисленными примерами можно доказать, как вянет всяческая человеческая радость в дымных тупиках больших городов.

Но для оскаруальдствующих обывателей здравый смысл был камнем, привешенным на шею "мещан". Да и радость, покой, счастье, в конечном счете, не стоят пары пустозвонных слов в высоком стиле. Главное — оригинальность до жалкого безвкусья, сальто-мортале мысли, костюмов, привычек.

Господи, сколько таких узколобых законодателей портило кровь себе и другим!

Появится где-нибудь Марья Петровна в прелестном по рисунку, чрезвычайно к ней идущем платье, но розовом, вся губерния вне себя:

— Представьте... какой ужас... Марья Петровна на балу в дворянском собрании была в... розовом платье. Розовом! Нет, вы подумайте!

И та, которой предлагали подумать, хотя это и не было в ее привычке, не только думала, но и изрекала целый сноп истин:

— Ничего удивительного, Марья Петровна совсем парвеню: она до сих пор любит своего мужа! Слава Богу, я не такая. Вот недавно, например, выписала почти из Парижа платье цвета давленной мыши и замечательного фасона: с первого взгляда даже не разберешь, где верх, где низ. Правда, мой Базиль говорит, что от одного цвета моего нового платья может затошнить, но ведь он совсем не эстет!

Читаете вы чтонибудь, подходит один из пророков "бытовой эмансипации" (была и такая), скептически кривит вдохновенное лицо и говорит так, будто у него полон рот песку (тоже модно было):

— Читаете?

- Нет, рыбу ужу. Видите, кажется!  
- Не волнуйтесь, это не оригинально.  
Тэк-с. А что читаете?

- "Евгения Онегина". Неувядающая вещь. Век прошел, а Пушкин все так же прекрасен.

Пророк в ужасе всплескивает руками, и у него изо рта начинает сыпаться песок давно уже набивших оскомину слов:

- Как? Пушкина? А Державина вы не читаете?? Да знаете ли вы, что теперь уже и Чехова считают банальным? Вот возьмите-ка лучше это - самый модный автор!

И вам суют напечатанный на слоновой бумаге бред одного из тех шутов от литературы, что во время оно бегали по Москве и Петербургу в желтых кофтах, а ныне лизоблюдствуют у большевиков.

Мещанобоязнь, чего и следовало, конечно, ожидать, превратилась в конце концов в такую обывательскую труху, от которой подчас прямо тошно делалось. Куда не плюнь - везде "мещаноборец", да еще какой! С апломбом, с мизерным от природы, да еще заутюженным пошлостью умом, с жалкими потугами на "философию", вроде того мало обещающего юноши, который всю европейскую и азиатскую Россию объездил с лекцией на тему:

"Мещанство ли Бог?"

И юношу слушали. Некоторые даже восхищались, когда эстетствующий недоросль, выгнанный из пятого класса гимназии за громкое поведение и тихие успехи, паясничал на эстраде.

- Какое развитие, какой ум!

Мудрено ли, что в результате такого "развития" добрая половина "мыслящей" части русского народа оказалась во



власти свода законов по "немедленному хорошему тону"? Чего только не было в этой хартии обывательского рабства!

Оригинальность только тогда оригинальна, когда она оригинальна. Вне этого все клоунады на канате изысканности есть ни что иное, как самое неприкрашенное мещанство, отвратительное в своей трафаретности, заезженности, обмусленности. Можно любить соловьев (разве их можно не любить?), можно часами ловить в сиреновом хрустале неба длинные копыта луны и вместе с тем не только не быть "мещанином", но и понимать прекрасное во сто раз глубже, чем господ эстеты в кавычках.

Быть может, это понятно хоть теперь, когда все потеряно, и мещанство, и немещанство. Быть может, не только я с огромной радостью отдал бы все наше "сегодня" с его бешеной погоней за лишним куском хлеба, с его никогда еще небывалой действительной вульгарностью мысли, слова и дела, с уличной пошлостью его танцев, его кино, профанирующих настоящее искусство его продажностью и гнилью, — за наше мертвое "вчера", за милый сад с соловьями, — за уютную воркотню самовара, за зеленые червонцы луны, рассыпанные щедрым небом по темным дорожкам, за глухой, будто стыдливый плач родного рояля, за самое простое счастье, за самую обыденную жизнь, за самый маленький покой. За то, что никогда не было "мещанством", что всегда было жизнью и что теперь стало мечтой.

## ЛИМОНАДНАЯ БУДКА

Хорошо, Господи, что у всех есть свой язык, свой тихий баюкающий говор. И у камня есть, и у дерева, и у вон той былинки, что бесстрашно колышется над обрывом, над белыми кудрями волн. Даже пыль, золотым облаком встающая на детской площадке, у каменных столбиков ворот, говорит чуть слышно горячими, колющими губами. Надо только прислушаться, понять. Если к камню у купальни — толстущий такой камень, черный в жилках серых... — прилечь чутким ухом и погладить его по столетним морщинам, он сейчас же заурчит, закашляет пылью из глубоких трещин — спать мешают, вот публика ей-Богу! А потом подумает: нехорошо, брат, и для здоровья вредно на старости лет злиться. И много-много интересного расскажет своим добрым каменным языком.

Расскажет о пугливых жуках, живущих под его запятанным в земле животом. О морской пене, которая, собственно, никому не нужна, потому что только смеяться и умеет. О звездах, падающих в августе с неба, где им, должно быть тесно. А может, просто попутешествовать хочется. Расскажет о том, как давно-давно всю ночь проплакала на нем золотоволосая девушка, обсыпая его горячими горошинами слез, а под утро бросилась в море. Говорили, какая-то там любовь со смертью ее обручила. Глупые эти люди, будто без любви и жить нельзя. Повывдумывали разное, а что в мире солнце есть и, что вон та щепка, бьющая о борт лодки — им и дела нет.!

Тот же венцы творения!... У всех есть свой язык, свой тихий говор... И всех можно понять, только надо быть ласковым и бездомным. Бездомным потому, что только потеряв свой край, свои поля, начинаешь понимать, что многоглагольна и чудесами вспахана земля Божия. И слушать начинаешь говоры и песни чужого края и полей чужих. Вот лимонадная будка, например. Плотно прилепилась она к забору у входа в парк. Она какая-то особенно полная и понятная. Может, оттого, что и будка тоже беженка — родилась она в России, в молодости была грузовой баржей, по Неве плавала. Потом разобрали старенькие ее кости и, эвакуировали их на чужбину, сколотили в киоск, для толстой фрю Густавсон, и ее бутылок с лимонадом. По-русски будка говорит совсем хорошо, хотя и с маленьким финским акцентом, ударения почему-то всегда на первом слоге, и никак "И" выговорить не может. Но и не мудрено — сколько лет прошло уже с юности на Неве. Когда-когда русскую речь услышишь, а русских газет лет двадцать не видела. Вот только "И" немножко смешно у нее выходит, а так она очень, очень милая, приветливая и мудрая, и я часто сижу в прохладной траве, прислонив голову к ее старым костям — они до сих пор не утратили еще запаха смолы — и слушаю долгие рассказы обо всем, чему свидетелем была она, лимонадная будка, и сбегавший к сонному морю парк... Летом в лимонадной будке толстая фрю Густавсон, урожденная фрэкен Гранхольм, вдова водопроводного мастера, о чем любезно сообщала вывеска над киоском, продавала влюбленным парочкам лимонад, яблоки и

пестрые пакетики с мятными лепешками. Зимой в будке жил Миша, которого катавшиеся с гор мальчишки каждый раз встречали и провожали радостными криками: — "Вэнелайнен, вэнелайнен!"\*) — Где жил Миша в остальное время года, никто не знал. Правда, серебряная былинка, певшая по вечерам старинные романсы — и очень недурно, только школы ей не хватало — часто говорила, будто ее друг-ветер видел, как весной и летом Миша бродил за городом и собирал грибы. Но все знали, что ветер большой фантазер и ему никто не верил.

Как только влюбленные парочки меняли темные аллеи на дансинги и кафе, и старинным золотом листопада покрывались его скамьи, изрезанные тысячами инициалов и пронзенных стрелами сердец, у лимонадной будки останавливалась белая, слепая на один глаз лошадь, Фрю Густавсон, урожденная фрэкен Гранхольм, укладывала свои бутылки, яблоки и пакетики в корзину, и белая лошадь увозила ее и корзину домой, в пригородный поселок, где водопроводный мастер оставил ей маленький домик и семь человек детей...

Через несколько дней приходил Миша. Вечно покачивающийся со стороны на сторону, худой до темной синевы под скулами и в впадинах глаз, с безмятежной улыбкой на неестественно ярких губах, он каждую зиму останавливался перед дверью опустевшего ларька с громким возгласом — "Приветствую тебя, мой кров священный!" — и кланялся, сложив руки по-индусски.

Миша приносил с собой чугунную печку без дверец и такую дымную, что лимонадная будка чуть было не захворала скоротечной чахоткой, да здоровый сосновый

---

\*) Русский

воздух, к счастью вылечил ее. Приносил Миша несколько ящиков из-под чая для кровати и стола, большую консервную банку — он варил в ней овес, мерзлый картофель и шоколад — связку книг, тетрадей и гитару с выцветшей лентой. На гитаре Миша играл с утра до ночи, играл до самозабвения, восторженно улыбаясь, блестя в полумраке синими каплями безумных глаз. Смеялся чему-то очень хорошему и очень родному, и играл, играл, забывая варить себе почерневший картофель или протопить печь. Еще в бытность свою в России, перевозя лес и бочки с керосином по Неве, лимонадная будка полюбила музыку: старшая дочь хозяина Люба, душевно играла на мандолине. Но у Любы все так просто было и трогательно "Очи черные, очи страстные...", "Пойду в лесочек, погуляю", или "По улицам ходила большая крокодила". А Миша... Суетились цветным бисером, прыгали по стенам и потолку, тонко плакали и громко смеялись толпы звуков, проворные пальцы бежали по струнам — и не уследишь за ними, бешеными. А понять ничего нельзя: не то вальс какой-то перепутанный, не то песня странная, на "Очи черные..." совсем не похожая. Только один раз Миша сказал со вздохом: — Бах, на гитаре не выходит. Сыграем-ка лучше баркаролу Чайковского. Сыграем, милый?!

Никакого милого в будке не было. И никто Мише не ответил. Но с баюкающей нежностью запела старая исцарапанная гитара: Та-та-та-та-та- там... Где доставал он овес и картофель, чем жил? — так и осталось тайной. Лимонадная будка с горечью созналась мне — даже ржавый навес зашумел внятно: "Да, да..." — что

Миша, в общем достойный молодой человек, работать терпеть не мог. А когда я, по откровенности своей и желанию поговорить с родным человеком, сказал лимонадной будке, что и я, между прочим, работать не люблю, а люблю девушку, забывшую меня, малороссийские хутора и стихи Бунина, — она прочла мне целую нотацию о вреде праздности.

Впрочем, осуждение праздности людской лимонадная будка заимствовала у своего соседа — камня с пугливыми жуками под мшистым животом. Тот все время недоумевал, для чего Господь Бог создал людей?... Но не только человек — каждое создание Божье — бабочка-капустница, и облачко, и дождевая капля — в свободное от труда время, выдумывают себе какую-нибудь забаву, каприз, радость... Была забава и у Миши: он дрессировал тараканов. Зажигал огарок, подбрасывал в печь шпек и вынимал из кармана спичечную коробку с коричневыми, блестящими зверьками. Тараканы разбегались по ящику из под чая, шевеля длинными усами и ежились от холода, а грязная рука с тонкими музыкальными пальцами загоняла их в очерченный углем квадрат, строила в две шеренги и рассыпала в цепь.

Может быть Мише удалось бы, в конце концов, приучить их к строгой дисциплине и военной выправке, но серые деревенские парни — тараканы, — привыкнув к жарко натопленной печке, дезертировали целыми взводами и замерзали, траурно опустив палочки усов. Миша хоронил их в снегу под "Траурный марш" Шопена, а на следующий день приносил новых.

Когда с детским криком лопались струны, когда переставала дымить чугунная

печка и голод затушевывал прозрачно синие глаза Миши, он кутал голову башлыком и шел на пристань грузить пароходы. Лимонадная будка провожала его материнским взглядом, скрипела тревожно. Все казалось ей: замерзнет, бедный! Ноги-то только тряпками обмотаны, грудь в легкой курточке с дырой на левом локте. И так уже кашляет беспрестанно... Но к вечеру возвращался Миша домой с шоколадом в золотой обложке, с грушами и виноградом, с новыми струнами в крохотной плетеной корзинке и будка, вдыхая знакомый запах сладостей и фруктов, успокаивалась. Весь в угольной пыли, усталый и беззаботный, Миша раскрывал квадратное окно, чудесно разрисованное морозом - большой художник, хоть и самоучка - бросал в рыхлые сугробы снега груши и матовые кисти винограда. Шумная стая мальчуганов, побросав салазки и коньки, спотыкаясь и падая на бегу, бросалась к окну со знакомым, радостным криком: - "Вэнелайнен, венелайнен"...

Серебристо-коричневые пузыри шоколада ласково шумели в консервной банке. Сердито ворчала набитая углем чугунок и со злости - Бог ее знает, почему у нее всегда было плохое настроение - напускала столько дыму, что будка заливалась кашлем, будто страдала коклюшем. Миша разваливался на ящиках и, блаженно улыбаясь, говорил кому-то - может быть опять тому милому, кого в будке не было: - Нам все равно, да? Пусть там потоп из крови. Они не понимают, что ты такой огромный! И у меня в душе - звезда твоя. Пусть там - все! А здесь ходит Бог. Ступит - след ноги в цветах и в музыке...

А утром выскребывал заплесневшими корками пенку со дна банки — опять надо идти на пристань — и играл Преображенский марш так четко и гордо, что тараканы в спичечной коробке начинали искренне раскаиваться в своем отращении к военной службе.

Раза два за зиму в будке появлялась маленькая костлявая женщина в дорогой потертой шубе — сестра Миши.

У нее было желтое птичье лицо, то и дело сводимое тиком, узкие руки с грязными ногтями и те же Мишины глаза — прозрачно синие, немного удивленные и усыпанные тревожными искорками. Только у брата искорки эти ушли вглубь и оттуда выглядывали редко, а у сестры они горели тоскливым живым пламенем.

Женщина ставила на ящик бутылку с молоком, большой круглый хлеб и котлету в засаленной бумажке. Вздохнув прерывистым, трехэтажным вздохом, сестра, резко отчеканивая слова, говорила брату всегда одно и то же: — "Сначала мы думали, что это просто блажь какая-то, но это уже третий год тянется. Если тебе себя не жаль, пожалей маму. Зачем было тогда бежать из России — пусть бы расстреляли лучше! Ты или страшный эгоист, или уродливый..."

Миша тихо перебирал струны и, думая о морском прибое, отвечал: — "Я и сам не знаю, кто я? Да это и неинтересно, Валя! А вот хочется, чтобы эта будка поднялась вверх и полетела... Около солнца, наверно нет ветра. Да?"

— Мы все изнервничались, я понимаю: и у тебя это со временем пройдет. Но нельзя же, Миша, так опускаться, стыдно!



Надо как-нибудь продержаться эти годы, а еще будет хорошо, я знаю, ты опять в консерваторию поступишь, мама повеселеет. Рояль твой...

— Не надо, Валя. Погибло, ну и пусть... Ты пойми — погибло! Так как же ты веришь? Странная ты! Тут Бог ходит, а ты про консерваторию...

Женщина испуганно оглядывала голые стены лимонадной будки и, прикрыв руку платком, крестила мелко и торопливо верхнюю пуговицу шубы.

— Дорожить этим совсем не надо, Валя. Этим, то есть, родиной, домом и там еще... роялем. У меня — звезда светит. Я люблю вот, когда печка горит и никого нет... И пусть! — Чем дорожить, по твоему? Холодной будкой? Дрессированными тараканами или романсами Глинки на этой идиотской гитаре? Скажи, чем? Боже мой, Боже?!

И этим не надо. Это тоже случайно. А вот идти по лесу, густом таком, прегустом... Слушать, как под ногами хрустит песок. Или бросать камешки в воду. Камешки — буль, буль! Круги расходятся. И радостно!...

К этой радости, понятной даже самой глупой волне, было глухо сердце костлявой женщины, и по ее желтому лицу текли желтые злые слезы.

Прошлой осенью Миша не пришел в темный парк, не поклонился старой лимонадной будке по-индусски. Фрю Густавсон, урожденная фрекен Гранхольм, еще в конце сентября увезла на белой, слепой на один глаз лошади, свои бутылки и пакетики, но и в октябре, и в декабре, и весной все так же пуст был священный кров

дрессировщика тараканов. Миша не пришел больше. Лимонадная будка затосковала, совсем сгорбилась, с горя ослепла на единственный глаз — стекло в квадратном окошке лопнуло студеной зимней ночью. Она расспрашивала о Мише весь парк, все море, все небо. Никто ничего не знал — ни птицы, ни волны, ни звезды, которые, как известно, иногда знают больше чем нужно. Только ветер сказал как-то, что он видел жильца лимонадной будки за городом, на пыльном шоссе, еще в июле. Лежал Миша с открытыми стеклянными глазами и смеялся ласково, как всегда. Только улыбка была, будто стеклянная. И не дышал он. Вероятно, перед тем, как лечь на шоссе, пил Миша красное вино, потому что с детских губ его сбегала на булыжник тоненькая красная струйка.

Но все знали, что ветер большой фантазёр, и ему никто не поверил.

1926 г.



## ВАЛААМ – СВЯТОЙ ОСТРОВ

Косые лучи осеннего солнца скользят по воде, разламываясь на золотые лучики в пароходной пене. Ладожское озеро кажется огромным голубым диском, брошенным с неба руками богов.

Направо скалистый берег, мохнатые головы сосен. За соснами покатая гора с белой, видимой издали обителью. Пунцовая звезда упала с заходящего солнца на золоченый крест колокольни, блестит мигающим светом.

Это Валаам. "Святой остров" Севера. Это к нему причалили в 992 году два схимника с горы Афонской – Сергей и Герман. В дикой чаще древнего леса вырос, как в сказке, белый город церквей, часовен, скитов. Вставшим из воды "градом Китежом" кажется он издали.

Валаам – один из немногих уцелевших в смуте православных монастырей. Заброшенный в вековую глушь Финляндии, он оказался в стороне от большой дороги коммунистического Соловья-Разбойника. И глядишь на него с опаской: не призрак ли? И любишь его, как последний оплот некогда славных воинов молитвы и отречения.

Валаам знал лучшие дни. В середине 18-го века игумен Дамаскин возвел те белые стены ограды, что видны издали, украсил церкви образами лучших иконописцев, вспахал с братией всю окрестную землю. Со второй половины 19-го века слава Валаама гремит на всю Россию. Две тысячи монахов, строгая, трудолюбивая жизнь, необозримые уголья, не-

оценимое богатство храмов. В монастырь длинными вереницами тянутся богомольцы — из столиц и из деревень, царская семья и хлебоборб из екатеринославщины, рабочий люд и знать.

Теперь на Валааме только 100 монахов, а богомольцев и совсем почти нет. Идет со мной по монастырскому саду старый монах и говорит с печалью: "Старые умирают, молодых нет... Да и откуда им взяться, молодым то? Понашли бы с юга, много нонче по России бездельного люду бродит, да — граница закрыта. А из здешних мало кто жить устает и к Богу приходит..."

Комнаты для богомольцев — а их несколько сотен — пустуют. Длинный белый коридор, бессчетный ряд дверей. Небольшие горненки с образом Божьей Матери в углу. Узкая кровать из сосны, твердая подушка, одеяло грубой шерсти.

И та же глубокая, вековая, немножко грустная тишина.

Преображенский собор. Величественный храм в два этажа. Нижний этаж покоится на остатках часовенки, выстроенной святыми патронами Валаама — Сергием и Германом. Здесь же их мощи в серебряных раках. Наверху долго стою у прекрасного образа Божьей Матери. Свечи мерцают в смуглом золоте иконы, в гранях драгоценных камней. Огромное распятие старинной резьбы. В подножье его вделан кусок креста Господня, окруженный бриллиантовым венком. Мощи не осквернены грязными руками, церковные ценности не изъяты... Грязная волна сюда не докатилась. Переливается радуга лампад. Летит вверх, бьется под куполами эхо могучего хора. Негромко, по-монастырски, читает иеромонах евангелие. Из собора

иду в трапезную. Большая сводчатая келья, рассчитанная на 500 человек. Длинные столы в три ряда. За средним столом сидит игумен со старшим духовенством. Общая молитва, настоятель благословляет хлеб наш насущный. С скромный, но сытный ужин.

На Валааме очень старые кладбища. Мне показывают могилу Магнуса Эриксона, героя шведских саг средних веков. Магнус в 1350 году подошел с флотом к Валааму, уже был спущен якорь командирского корабля, когда поднялся шторм, разбивший шведский флот о скалы "святого острова". Буря выбросила Магнуса на берег. Он умер через три дня, приняв перед смертью православие. Так говорит легенда. Время сохранило лишь надгробную плиту с неясной надписью на ней. На другом кладбище прошлогодняя буря в течении двух часов повалила свыше 150.000 деревьев. Лес значительно поредел, но все могилы остались нетронутыми... Вот келья знаменитого схимника - Николая Молчальника. Его в 1809 году посетил император Александр I. Он не мог войти в узкую и низкую дверь кельи, пришлось сделать дверь побольше. Святитель Николай решил угостить императора обедом и дал ему то, что сам ел всю жизнь - репу. Царская свита бросилась за ножом, чтобы очистить репу, но император остановил своих генералов: - "Как хороший солдат, я съем и нечищенную..."

Неподалеку от кельи - могила Николая Молчальника. Она буйно заросла. Много верующих привлекает церковь Гроба Господня - точная копия иерусалимского храма Гроба Господня. В церкви - мраморный гроб замечательно тонкой работы.

Глаза разбегаются, когдаходишь в музей — библиотеку. Здесь так много реликвий, старины, вещей, принадлежавших святым, великим князьям, царям и императорам, древнейших икон, церковной утвари всех веков, что человек, старину любящий и ее понимающий, рискует много дней пробыть в обществе этих вестников далекого прошлого.

Монастырская библиотека насчитывает 15.000 томов. В их числе оригинальные произведения отцов церкви, один из старейших талмудов и масса редчайших рукописей и старинных актов.

Здесь, еще сильнее, чем в монастырской гостинице, вас охватывает, чарует вас, немного печалит, седая, молитвенная тишина — единый след прогрохотавших над Валаамом бурных веков...

## БАЛААМСКИЕ СКИТЫ

Хорошо на скитах! Величественная дикость природы, отдаленный гул Ладоги, невозмутимое спокойствие огромных сосен, скалы, скалы, скалы... Далеко монастырь. Близко небо. Легко дышется здесь, и молиться легко... Много, очень много на Валааме пустынь и скитов, близких и далеких, древних и новопоставленных.

За десять дней пребывания своего в монастыре, я побывал уже на всех, на некоторые тянет ещё — такая красота и святость. Разве расскажешь обо всем?... Когда вы въезжаете с Ладоги в монастырский залив — как раз в этом месте голубой пароход "Сергий" поёт звонким баритоном — слева зеленеет остров. Это скит св. Николая. На отлоге вершине его когда-то стояла высокая часовня-маяк. В бурю, в окнах ее вспыхивали синие и красные огни, указывая путь в обитель. Теперь на скале небольшой богатый храм, сооруженный иждивением Солодовникова, купца Санкт-Петербургского. Главная его святыня (здесь неутомимые "кодаки" щелкают особенно часто) — резная статуя Святителя Николая. Странно видеть католическую статую в православном храме! Существует предание, что Чудотворец приплыл ровно в полночь к монастырским берегам. Изображение Святителя раскрашено блеклыми с золотом красками. Старинные туфли в цветах. В одной руке — меч, в другой — череп. На кудрявой голове — нерусская корона. Стоит статуя в золотом шкафу-раке с точеными дверцами. Когда с легким скрипом открываются они — Святитель кажется живым в полутьме...



На противоположном берегу, у затопленной баржи — всегда здесь словоохотливый отец Иона ловит рыбу, а больше любит отражением удочки в прозрачной воде — висит на сломанной бурей сосне кусок рельсы, повыше — большой ржавый гвоздь. Бьете гвоздем в этот своеобразный гонг и от пристани Никольского скита отчаливает за вами лодка...

Если вам захочется исключительного даже на Валааме покоя, солнца и особого монастырского чая с домашним, чуть горьковатым хлебом — поезжайте на Порфирьевский скит. Далеко это, правда. Плывете вы долго по бесчисленным проливам — совсем бирюзовым — с надписями высеченными в скале: "Сооружена сия канавка в 1859 г." или "Сей мост сооружен игуменом Дамаскиным с братиею в 1842 году". Долго стираете вы длинными веслами острые крючки уключин. Устанете, может быть. Но зато ни один турист, "музейщик", до Порфирьевского скита не добирается. С детской улыбкой, радушно как сына родного, встретит вас настоятель скита, бывший игумен, о. Федор. спросите его: — "А много вас здесь, отец?" — И ответит монах с детской ласковостью: — "Было раньше до десяти отшельников, а теперь немного. Всего трое и осталось. Я, игумен Федор и две кошечки..." — Степенно войдут эти две кошечки — одна — белая, другая — черная — и будут с тихим урчанием есть крупную землянику...

Широко расходуется молва о "хозяине" Ковенского скита — отце Ефреме. "Хозяином" в монастырях называется настоятель отдельного скита. Славится о. Ефрем подвижнической жизнью и той глубокой, просветленной верой, которую

вкладывает он, ловец человеков, в души исповедующихся у него. Много лет был он духовником Великого Князя Николая Николаевича, провел войну на фронте, шел с крестом впереди войск, снова вернулся в свою келью в отдаленном скиту. Уже с деревянной покосившейся пристани виден белый, византийского стиля храм-часовня, сооруженный Великим Князем в память воинов, павших во время великой войны. Ежедневно совершаются здесь службы о всех, за Веру, Царя и Отечество, живот свой положивших...

Отец Ефрем уже 43 года на Валааме. На нем одежда схиеромонаха: схимническая скуфья с белым крестом, такие же кресты и тексты из Св. Писания на рясе. Из под насупленных бровей спокойно смотрят приветливые глаза. Длинная борода с проседью. Неподвижное, желтоватое лицо. В нескольких шагах от храма — могила, вырытая отцом Ефремом для себя самого. В бедной келье его вместо кровати — черный гроб с выжженным на крышке скелетом. — "А вам не жутко спать здесь?" — вырвалось у меня.

Улыбнулся отец Ефрем: — "Почему же жутко? Смерть — радость! Умерев, я увижу Христа.

На серых бревенчатых стенах много портретов, в том числе портрет Вел. Князя Михаила Александровича с надписью "Михаил, 1911". Черной змейкой брошены четки у другого портрета — Верховного Главнокомандующего. Читаю надпись, сделанную знакомым энергичным почерком: "Высокопочтенному отцу Георгию. НИКОЛАЙ, 27 июня 1914" До принятия схимы, звали о. Ефрема — Георгием...

С заметной гордостью и любовью

говорит схимник о духовном сыне своем, о непрекращающейся и поныне переписке с Великим Князем. — "Молюсь о нем всегда. Да укрепит Господь его силы на благо родины..." И я почему-то вспоминаю, что в ризнице монастыря хранится хоругвь князя Пожарского, эпохи Смутного времени. Вероятно, немало иноков и мирян и тогда молилось о ниспослании побед доблестному вождю, как молятся они и теперь, в черные годы новой смуты...

К северо-востоку от монастыря в семи верстах, высоко вздымает свои угрюмые отвесные скалы "Святой остров". На старинных картах значится он под именем "Старого Валаама". Может быть, именно отсюда "пошла бысть" земля ваалаамская...

Причаливаю ко всему крохотному: — пристани, маленькому кресту на круглом камешке, совсем детской, игрушечной часо-венке, узкой тропинке вверх — к вершинам елей, в небо. И еще грандиознее кажутся оголенные горы с совершенно отвесными скатами, падающие в Ладогу.

Куда идти? Тропинка, взбежав круто, растекается по четырем направлениям. Пойдешь направо — в озеро упадешь, налево... — Ау-у-у... Гулким грохотом расходится крик. Музицируют комары. Отгоняю этот назойливый оркестр папиросой, спрятав ее, по-гимназически, в рукав — не увидели бы отцы, не сочли бы "музейщиком"...

Через несколько минут показывается из-за уступа совсем дряхлый инок. Осторожно ставит он нетвердые ноги на сухие иглы сосен, золотом песка обильно пересыпанные, долго смотрит на меня слезящимися глазами. — "Православный?" — Чувствую: спросил на-авось. Какие тут

православные теперь!... Отвечаю, под-  
ходя под благословение: - "Православный.  
Простите, отец, что потревожил. Заблудился бы я без проводника." Старик крестит меня дрожащей рукой и говорит, волнуясь с живой и теплой радостью: - "Господи, кои веки... Спаси Вас Бог. Забыты мы тут... Родного человека по году не видишь... Проходите, миленький.."

Как уже знакома мне эта радость иноков, оторванных и отрываемых от всего русского. В каждом скиту - и чем дальше от монастыря скит, тем настойчивее - спрашивают с тревожной надеждой: "Православный?" Иногда плачут. Другие пытаются: - "Не из России ли? Как там? Господи?... -

Взбираемся на гору. Белая деревянная рука с дощечкой: - Дорога к пещере. - Идем над обрывом. Вижу, далеко внизу - озеро. Высота такая, что чуть видны белые барашки Ладоги. Над головой - свисающие глыбы гранита. Вот-вот рухнут... Монах медленно постукивает посохом, говорит: - "А дорожку-то кругом острова один инок выдолбил. Встанет с солнцем и над пропастью трудится, расщелины камнями заваливает. Песочком раньше было посыпано. Да ветром сдуло нонче, песочек то..."

Первым насельником "Святого острова" был Святой Александр Свирский. Пришел он в монастырь в 1474 году юношей. Много лет подвизался на диком острове Валаама. По Божьему зову ушел на реку Свирь, основал на берегах ее монастырь, где и преставился в 1533 году. В пещеру его, тщательно сохраняемую братией и вел меня старик. Жил Св. Александр в расщелине скалы, углубив ее немного.

Перед этой гранитной келией - трех-  
саженный деревянный крест. Двери нет.  
Есть длинный, узкий и низкий коридор, в  
граните выдолбленный. С трудом вползаю  
в келью, держа в руке свечу монастыр-  
ского, желто-коричневого воска. Незем-  
ной свет горел в душе Св. Александра,  
раз жил он в каменном мешке, в полную  
тьму брошенном. Ни солнце, ни луна не  
попадают сюда. Тускло мерцают иконы  
древнего письма, одну из них принес свя-  
титель из дому, из пределов Олонецких,  
от берегов реки Ояти. Кровать из не-  
отесанных камней. Каменный стул...

Выползаю из пещеры, полной грудью  
вдыхаю острый, чуть дурманивший хвойный  
аромат. Какая красота на земле Твоей,  
Господи!... Еле колышутся миллионы игл  
на сосновых ветках. Каплет румяное, ве-  
чернее солнце сквозь колеблющуюся сетку  
этих душистых стрел, на песке расцве-  
тают розовые капли райскими цветами.

Вздрагивают золотые, совсем шелко-  
вые стружки на стволах прямых, как до-  
роги к Богу, сосен. Небо на востоке  
ещё дневное, синее, на западе - огром-  
ный и огненный веер заката...

Вспоминаю стихи "Размышления у сол-  
нечных часов", только что встреченные у  
каменного столба:

"...Время мчится вперед, час за  
часом идет непреложно,

И вернуть, что прошло, никому, ни  
за что невозможно.

Береги каждый час: их немного у нас  
для скитанья,

И клади на часы, вместо гирь на весы  
- покаянье..."

Но ни вспоминать, ни говорить не

хочется. Как не хочется заносить на эти дорожные листки, не хочется писать за тридцать земель о том, что взволновало весь Валаам волнением острым, обоюдо-раздражающим — о новом и старом стиле.\*) О том, что старостильники — их всё же большинство — давно уже не ходят в храмы, "оскверненные" новым стилем, что, сохранив небольшой запас прежде освященных даров, слушают они в лесу, повесив икону на сосне, и этот уход в новые катакомбы, оваян какой-то страстной верой в свою правоту, что не поколебать этой веры ни каким хитроумным софизмам, никаким посулам... Старостильников "раздевают". Снимают клобуки, одеяние схимническое, рассылают по дальним скитам. Многих судили за "ересь" и непослушание, часть выслали за границу. Будут судить еще и еще... Потрясенный небывалой еще на Валааме смутой, спросишь порой: — Ну "разденут" вас всех, отец, выгонят с родного острова. Что же станет с монастырем? Погибнет, ведь святая обитель! И все тот же страстный ответ:

— Пусть гонят! Основоположники валаамские и мы сами пришли сюда в монастырь не остров и его богатства спасать, а душу свою спасти...

В монастыре звонят к вечерне. Низкий стон колокола, нарастая, бьется в гранит медным прибоем. Мой проводник, тоже "раздетый" — долго крестится, думая о чем-то, говорит: — "А какой слух из России идет?... Когда там опять по Божьему станет?..."

Что я скажу ему?...

Валаам, 1926

---

\*) По распоряжению правительства православная церковь в Финляндии вынуждена была, несмотря на многочисленные протесты, перейти на новый стиль. Примечание Р.П.



Ты не думай, все запишется,  
Не простится, ты на жди...  
Пряча тайное колышется  
Сердце – ладонка в груди.

Иван Савин, 1922 г.





ИВАНЪ САЗИМЪ

Ладонка

Книга Лирки

Тельсхитфорс, 1925

Авторский проект обложки сборника  
"Ладонка"

## ПРЕДИСЛОВИЕ К 1-му ИЗДАНИЮ "Л А Д О Н К И"

*"Вы целый год несли крест: теперь  
этот крест носите вы на груди. Объ-  
едините же вокруг этого креста рус-  
ских людей"...*

/Из речи ген. Кутепова  
на последнем параде в Гал-  
липоли 16 дек. 1921 г./.

Шестой год нашего изгнания — срок достаточный, чтобы осели на дне души многогранные лики жизни. Срок достаточный и для того, чтобы между теми, кто воспринял едино эти лики, протянулись прочные нити, для которых нет ни расстояния, ни преград...

В эти годы все чаще и чаще встречается в нашей зарубежной печати имя Ивана Савина.

Иван Савин, больше чем многие из нас, испытал на себе бремя гражданской войны. Оставленный в Крыму, он узнал весь ужас пленения, неизбежность расстрела, нелегального существования, физических и нравственных пыток, — и в то время, когда для нас наступала новая пора духовного расцвета в галлиполийских лагерях, он, как преступник и тать, пробирался по родной — и бесконечно-чужой — земле на далекий север. В Крыму он потерял свою свободу; в Финляндии — нашел ее снова.

Свобода без родины...

Как без компаса блуждает бессмысленно судно по водной стихии, так блуждает без родины свободный человек. Некуда плыть в просторе. Все дали одинаково равны и одинаково безразличны. Все цвета одинаково серы.

Но Савин не остался без родины. В своей душе вынес он ее на чужбину. Она продолжала отражаться в его песнях. Серость жизни преломлялась в них то ярким гневом, то нежной тоской, то бодрым порывом.

И потому с юга на север потянулись к нему прочные нити нашей дружбы, нашего понимания, наших устремлений.

\* \* \*

В стихах Ивана Савина не может быть ничего специально "галлиполийского". Не видел он красоты нашего полотняного городка, фиолетовых гор за проливом, не слышал вечерней трубы и вечерней молитвы, когда за темным краем опускалось солнце. Не радовался он как мы, каждому русскому ростку — звонкой юнкерской песне, белым гимнастеркам, стройным рядам проходящих частей. Не удостоился высокого счастья носить галлиполийский крест.

Но не в палатках, юнкерских песнях, железном кресте — лежит душа Галлиполи. Она давно вышла из берегов Дарданелл: она давно переросла свои воспоминания. Она не нуждается в фимиаме и прославлении. Галлиполийцы — не каста, а духовное братство. Нам, кавалерам черного креста, близки все те, кто умеет носить свой невидимый крест.

Стихи Ивана Савина стоят того, чтобы их отметить. В них нет ни патристического шума, ни сентиментальной сладости. И главное, — в них нет нигде стихотворной прозы.

Словами, которые падают в душу огненными каплями, выражает он в не политическую природу белых борцов. Господом были поставлены они в дозор, чтобы пошла

"...былинная Москва,  
В древнем Мономаховом уборе,  
Ко святой заутрене, в дозоре  
Странников, непомнящих родства"...

Как мелки политические споры перед лицом того, кто "в служеньи суровом к Иордану святому зовет", кто живет в вечном напряжении, питаюсь акридами и медом!

Савин находит образы для своих мыслей:

"В мареве беженства хилого,  
В зареве казней и смут,  
Видите: руки Корнилова  
Русскую землю несут"...

В этих руках, несущих русскую землю, чувствуется не простой рисунок: это почти икона, где руки выписывались вопреки всякой анатомии, но строго по уставу и преданию. Вы сразу чувствуете не политический акт, но духовное подвизничество. И не потому ли Корнилов,

"Причастник русского стыда  
"Был мертвой родины достоин  
"В те недостойные года"?

Где истоки этих, недостойных лет"?

**Не потому ли, что**

"В нас никогда не пело эхо  
Господних труб. Слепые совы  
В нас рано выклевали Бога..."

**Не потому-ли у поколения Савина  
"украли молодость", не поэтому-ли за-  
ставили пережить гибель близких людей  
и Христа-ради "просить жизни"? Не по-  
этому-ли так страшит одна мысль, что в  
будущем**

"...крови нашей страшный грунт  
Засеяв ложью, шут нарядный  
Увьет цветами - русский бунт  
Бессмысленный и беспощадный"?

**Но велика вера живущего в напряжении.**

"Мой белый друг, наш близок дом.  
"Мой белый друг, мы у порога..."

**Лирика Савина богата образами. Не-  
сколько штрихов, намек - и создается  
целая картина.**

"Утро. Пушистое сено  
Медом полно. У воды  
Мельница кашляет пеной,  
Пылью жемчужной руды".

**Для чужого севера он находит иные  
слова:**

"Чего здесь больше, капель или игл?  
Осенних брызг, или сосновых хлопьев?  
Столетний бор, как стомачтовый бриг  
Вонзился в небо тысячами копьев".

**Но везде - несет он с собой Россию. Боль  
воспоминаний не приводит ни к отчаянию,  
ни к пессимизму. Родина, как и изме-  
нившая женщина:**

"Ни правых, ни виновных нет  
В любви, замученной нечаянно..."

Савин с "украденной молодостью" – не старик, и не играет под старика. Тот, кто "отдал Господу сердце свое", не может погрязнуть в житейских расчетах. И в чаянии крестового похода за правду, он восклицает:

"Да приидет! Высокие плечи  
Преклоняя на белом лугу,  
Я походные песни, как свечи,  
Перед ликом России зажгу".

\* \* \*

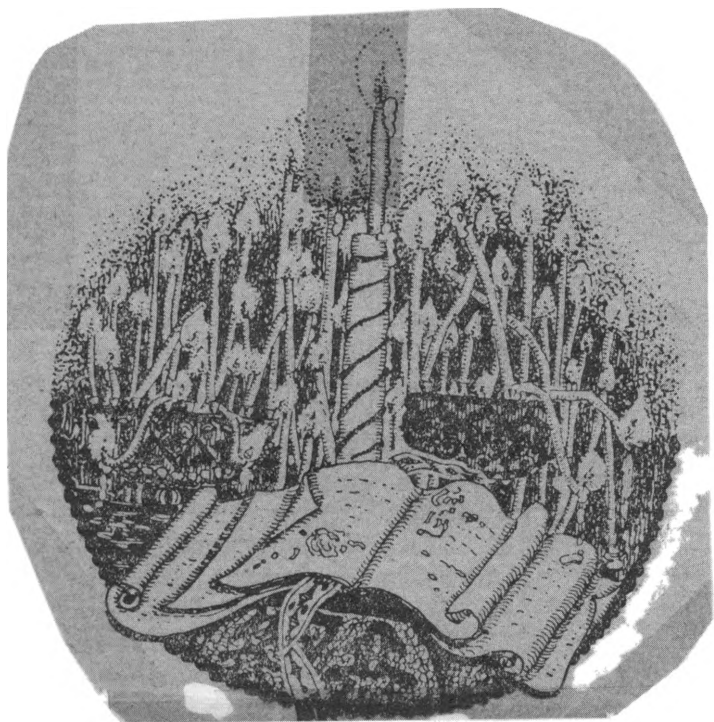
В песнях И. Савина, каждый из нас – и особенно наша молодежь, у которой украли ее молодость, – найдет многое, что затронет душу.

В повседневных трудах, в беспросветной рабочей жизни, – хочется отдохнуть за поэзией и стихами. Я это знаю из личной переписки. Десятки лиц поверяли мне свои стихотворные опыты, где искренно и непосредственно выливали и свое горе, и свои надежды. Но, должен сказать, за редким исключением, эти опыты были успешны. Недостаток технического навыка отнимал от этих опытов объективную ценность; и – может быть самое главное – авторы упускали из вида, что не все, выраженное в стихотворной форме есть стихи.

Вот почему я с особым удовольствием предложил Обществу галлиполийцев издать первый сборник Ивана Савина: сборник этот, не говоря ни единого слова о Галлиполи, пополнит нашу "галлиполийскую" литературу.

В. Даватц.

14 мая 1926 г. Белград



**Я походные песни как свечи,  
Перед ликом России зажгу...  
Иван Савин**

Виньетка работы художницы Л. Ковалевской  
из 1-го Издания "Ладонки".

## ИЗ СТИХОВ 1-го ИЗДАНИЯ

\*  
\*   \*  
\*

Я – Иван, непомнящий родства,  
Господом поставленный в дозоре.  
У меня на ветреном просторе  
Изошла в моленьях голова.

Все пою, пою. В немолчном хоре  
Мечутся набатные слова:  
Ты ли, Русь бессмертная, мертва?  
Нам ли сгинуть в чужеземном море!?

У меня на посохе – сова  
С огненным пророчеством во взоре:  
Грозовыми окликами вскоре  
Загудит родимая трава.

О земле, восставшей в лютом горе,  
Грянет колокольная молва.  
Стяг державный богатырь-Бова  
Развернет на русском косогоре.

И пойдет былинная Москва,  
В древнем Мономаховом уборе,  
Ко святой заутрене, в дозоре  
Странников непомнящих родства.

1923



\*  
\*   \*   \*

Оттого высоки наши плечи,  
А в котомках акриды и мед,  
Что мы, грозной дружины предтечи,  
Славословим крестовый поход.

Оттого мы в служеньи суровом  
К Иордану святому зовем,  
Что за нами крестьящими словом,  
Будет воин, крестьящий мечом.

Да взлетят белокрылые латы!  
Да сверкнет золотое копье!  
Я, немеркнувшей славы глашатай,  
Отдал Господу сердце свое...

Да приидет!... Высокие плечи  
Преклоняя на белом лугу,  
Я походные песни, как свечи,  
Перед ликом России зажгу.

1923

## КОРНИЛОВУ

В мареве беженства хилого,  
В зареве казней и смут,  
Видите – руки Корнилова  
Русскую землю несут.

Дгли ее, рвали, кровавили,  
Прокляли многие, все,  
И отошли, и оставили  
Пепел в полночной росе.

Он не ушел и не предал он  
Родины. В горестный час  
Он на посту заповеданном  
Пал за страну и за нас.

Есть умиранье в теперешнем,  
В прошлом бессмертие есть,  
Глубже храните и бережней  
Славы Корниловской весть.

Мы и живые безжизненны,  
Он и безжизненный жив,  
Слышу его укоризненный,  
Смертью венчаный призыв.

Выйти из мрака постылого  
К зорям борьбы за народ,  
Слышите сердце Корнилова  
В колокол огненный бьет!

1924

## В О З М Е З Д И Е

Войти тихонько в Божий терем  
И, на минуту став нездешним,  
Позвать светло и просто: Боже!  
Но мы ведь, мудрые, не верим  
Святому чуду. К тайнам вешним  
Прильнуть, осенние, не можем.

Дурман заученного смеха  
И отрицанья бред багровый  
Над нами властвовали строго.  
В нас никогда не пело эхо  
Господних труб. Слепые совы  
В нас рано выклевали Бога.

И вот он, час возмездья черный,  
За жизнь без подвига, без дрожи,  
За верность гиблому безверью  
Перед иконой чудотворной,  
За то, что долго терем Божий  
Стоял с оплеванной дверью!

1923

\* \* \*

Все это было. Путь один  
У черни нынешней и прежней,  
Лишь тени наших гильотин  
Длинней упали и мятежней.  
И бьется в хохоте и мгле  
Напрасней правды нашей слово  
Об убиенном короле  
И мальчиках Вандеи новой.  
Всю кровь с парижских площадей,  
С камней и рук легенда стерла,  
И сын убогий предал ей  
Отца раздробленное горло.  
Все это будет. В горне лет  
И смрад, и блуд царящий ныне,  
Расплавятся в обманный свет.  
Петля отца не дрогнет в сыне.  
И крови нашей страшный грунт  
Засеяв ложью, шут нарядный  
Увьет цветами – русский бунт,  
Бесмысленный и беспощадный...

1925

## Р О С С И И

Услышу-ль голос твой? Дождусь ли  
Стоцветных искр твоих снегов?  
Налью ли звончатые гусли  
Волной твоих колоколов?

Рассыпав дней далеких четки,  
Свяжу-ль их радостью, как встарь,  
Твой блудный сын, твой инок кроткий,  
Твой запечаленный звонарь?

Клубились ласковые годы,  
И каждый день был свят и прост.  
А мы в чужие небосводы  
Угнали стаю наших звезд.

Шагам Господним, вечным славам  
Был солнцем вспаханный простор.  
А мы, ведомые лукавым,  
Мы уготовили костер,

Бушующий проклятой новью –  
Тебе, земля моя! И вот –  
На дыбе крупной плачем кровью  
За годом год, за годом год...

1924

\* \* \*

Кто украл мою молодость, даже  
Не оставил следа у дверей?  
Я рассказывал Богу о краже,  
Я рассказывал людям о ней.

Я на паперти бился о камни.  
Правды скоро не выскажет Бог.  
А людская неправда дала мне  
Перекопский полон да острог.

И хожу я по черному свету,  
Никогда не бывав молодым,  
Небывалую молодость эту  
По следам догоняя чужим.

Увели ее ночью из дому  
На семнадцатом детском году.  
И по вашему стал, по седому,  
Глупый мальчик метаться в бреду.

Были слухи – в остроге сгорела,  
Говорили – пошла о рукам...  
Всю грядущую жизнь до предела  
За года молодые отдам!

Но безмолвен ваш мир отсиявший.  
Кто ответит? В острожном краю  
Скачет выжженной степью укравший  
Неневестную юность мою.

1925

\*  
\*   \*   \*

Законь тьмь неумолимы.  
Непререкаем хор судеб.  
Все та же гарь, все те же дьмы,  
Все тот же выпланный хлеб.

Мне недруг стал единоверцем:  
Мы все, кто мог и кто не мог,  
Маячим выветренным сердцем  
На перекрестках всех дорог.

Рука протянута молит  
О капле солнца. Но сосуд  
Небесной милостыни пролит.  
Но близок нелукавый суд.

Рука дающего скудеет:  
Полмира по-миру пошло...  
И снова гарь, и вновь тускнеет  
Когда-то светлое чело.

Сегодня лед дорожный ломок,  
На-завтра злая встанет пыль,  
Но так же жгуч ремень котомок  
И тяжек нищенский костыль.

А были буйные уклады  
И гордой молодости лет...  
Подайте жизни, Христа ради,  
Рыдающему у ворот!

1924

Брату Борису

Не бойся, милый. Это я.  
Я ничего тебе не сделаю.  
Я только обовью тебя,  
Как саваном, печалью белою.

Я только выну злую сталь  
Из ран запекшихся. Не странно ли:  
Еще свежа клинка эмаль.  
А ведь с тех пор три года канули.

Поет ковыль. Струится тишь.  
Какой ты бледный стал и маленький!  
Все о семье своей грустишь  
И рвешься к ней из вечной спаленки?

Не надо. В ночь ушла семья.  
Ты в дом войдешь, никем не встреченный.

Не бойся, милый, это я  
Целую лоб твой искалеченный.

1923



Брату Николаю

Мальчик кудрявый смеется лукаво.  
Смуглому мальчику весело.  
Что наконец-то на грудь ему слава  
Беленький крестик повесила.  
Бой отгремел. На груди донесенье  
Штабу дивизии. Гордыми лирами  
Строки звенят: бронепоезд в сражении  
Синими взят кирасирами.  
Липы да клевер. Упала с кургана  
Капля горячего олова.  
Мальчик вздохнул, покачнулся и странно  
Тронул ладонями голову.  
Словно искал эту пулю шальную.  
Вздрогнул весь. Стремя зазвякало.  
В клевер упал. И на грудь неживую  
Липа росой заплакала...

Схоронили-ль тебя - разве знаю?  
Разве знаю, где память твоя?  
Где годов твоих краткую стаю  
Задушила чужая земля?  
Все могилы родимые стерты.  
Никого, никого не найти...  
Белый витязь мой, братик мой мертвый,  
Ты в моей похоронен груди.  
Спи спокойно! В тоске без предела,  
В полыхающей болью любви,  
Я несу твое детское тело,  
Как евангелие из крови.

1925

Братьям моим Михаилу и Павлу.

Ты кровь их соберешь по капле, мама,  
И, зарывав у Богоматери в ногах,  
Расскажешь, как зияла эта яма,  
Сынами вырытая в проклятых песках,

Как пулемет на камне ждал угрою,  
И тот в бушлате, звонко крикнул:  
"Что, начнем?"

Как голый мальчик, чтоб уже не думать,  
Над ямой стал и горло проколол гвоздем.

Как вырвал пьяный конвоир лопату  
Из рук сестры в косынке и сказал: "Ложись",  
Как сын твой старший гладил руки брату,  
Как стыла под ногами глинистая слизь.

И плыл рассвет ноябрьский над туманом,  
И тополь чуть желтел в невидимом луче,  
И старый прапорщик, во френче рваном,  
С чернильной звездочкой на сломанном плече,

Вдруг начал петь — и эти бредовые  
Мольбы бросал свинцовой брызжащей струей:  
Всех убиенных помяни Россия,  
Егда приидеши во царствие Твое...

1925

\* \* \*

Помните? Хаты да пашни.  
Луг, да цветы, да река.  
В небе, как белые башни,  
Долго стоят облака.  
Утро. Пушистое сено  
Медом полно. У воды  
Мельница кашляет пеной.  
Пылью жемчужной руды.

Помните? Вынырнул вечер,  
Неповторимый такой.  
Птиц многошумное вече,  
Споря, ушло на покой.  
Тени ползут как улитки  
В старом саду. В темноте  
Липы шуршат. У калитки  
Странник поет о Христе.

Помните? Ночью колеса  
Ласково как-то бегут.  
Месяц прищурился косо  
На полувysохший пруд.  
Мышь пролетела ночная.  
Выплыл из темени мост,  
С неба посыпалась стая  
Кем-то встревоженных звезд...

1924



Когда палящий день остынет  
И солнце упадет на дно,  
Когда с ночного неба хлынет  
Густое лунное вино,

Я выйду к морю полночь встретить,  
Бродить у смуглых берегов,  
Береговые камни метить  
Иероглифами стихов.

Маяк над городом усталым  
Откроет круглые глаза,  
Зеленый свет сбежит по скалам,  
Как изумрудная слеза.

И брызнет полночь синей тишью.  
И заструится млечный мост...  
Я сердце маленькое вышью  
Большими крестиками звезд

И, опьяненный бредом лунным,  
Ее сиреневым вином,  
Ударю по забытым струнам  
Забытым сердцем, как смычком...

1924

## Н А С А Й М Е

Чего здесь больше, капель или игл?  
Озерных брызг, или сосновых хлопьев?  
Столетний бор, как stomachовый бриг,  
Вонзился в небо тысячами копьев.

Сбегают тени стрельчатой грядой  
На кудри волн по каменистым склонам,  
А лунный шар над розовой водой  
Приколот одуваньчиком зеленым.

Прозрачно дно. Озерные поля  
Расшиты желтыми шелками лилий.  
Глухой рыбак мурлычит у руля  
Про девушку, которую убили.

В ночную воду весла уронив,  
Дремлю я, сердце уронив в былое.  
Плывет, весь в черном бархате залив  
И, все в огнях, кольцо береговое.

Проснулся ветер, вынырнул из трав,  
Над стаей туч взмахнул крылом незримым...  
И лунный одуванчик задрожав,  
Рассыпался зеленоватым дымом.

1925

## Р Е В Н О С Т Ь

Спросила девочка тихо:  
"О чем ты, мальчик, грустишь?"  
За дверью – поле, гречиха  
И такая густая тишь.

Колыхнулся и вспыхнул синее  
Над закрытой книгой взор.  
"Я грущу о сказочной фее,  
О царевне горных озер."

Соловей вскрикнул напевно.  
Упала с ветки роса.  
"А какая она, царевна?  
И длинная у нее коса?"

"У царевны глаза такие –  
Посмотрит и заманит в плен.  
А косы ее – золотые,  
Золотая волна до колен."

И сказала крошка, играя  
Черной косичкой своей:  
"...Тоже... радость большая –  
В рыжих влюбляться фей!"

1925

## З А К А Т

Декабрьский вечер синь и матов.  
Беззвездно в горнем терему.  
Таких медлительных закатов  
Еще не снилось никому.

Глаза ночные сжаты плотно,  
Чуть брызжет смуглый их огонь,  
Как будто черные полотна  
Колеблет робкая ладонь.

Поют снега. Покорной лыжей  
Черчу немудрые следы.  
Все строже север мой, все ближе  
Столетьем скованные льды.

Бегу по сказочной поляне,  
Где кроток чей то бедный крест,  
Где снег нетронутый желанней  
Всех нецелованных невест.

Мне самому мой бег неведом.  
Люблю бескрайности пустынь.  
Цветет закат. За лыжным следом  
Следит серебряная синь.

Недвижна белая громада  
Снегов в узорчатой резьбе...  
Вчера мне снилось, что не надо  
Так много плакать о тебе...

1924



Обложка 3-го издания "Ладонки"  
работы художника К. Подушкина





Виньетка работы художницы Л.Ковалевской  
из 1-го издания "Ладонки".

## ИЗ СТИХОВ 3-го ИЗДАНИЯ

\*  
\*   \*   \*

Огневыми цветами осыпали  
Этот памятник горестный Вы,  
Несклонившие в пыль головы  
На Кубани, в Крыму и в Галлиполи.

Чашу горьких лишений до дна  
Вы, живые, вы, гордые, выпили  
И не бросили чаши... В Галлиполи  
Засияла бессмертием она.

Что для вечности временность гибели?  
Пусть разбит Ваш последний очаг –  
Крестоносного ордена стяг  
Реет в сердце, как реял в Галлиполи.

Вспыхнет солнечно-черная даль  
И вернетесь вы, где-бы вы ни были,  
Под знамена... И камни Галлиполи  
Отнесете в Москву, как скрижал.

1923

\* \* \*

Это было в прошлом на юге,  
Это славой теперь поросло.  
В окруженном плахою круге  
Лебединое билось крыло.

Помню вечер. В нощем гуле  
Птицей несся мой взмыленный конь.  
Где то тонко плакали пули,  
Где то хрипло кричали: огонь!

Закипело рвущимся эхом  
Небо мертвое! В дымном огне  
Смерть хлестала кровью и смехом  
Каждый шаг наш. А я на коне,

Набегая, как хрупкая шлюпка  
На девятый, на гибельный вал,  
К голубому слову – голубка –  
В черном грохоте рифму искал.

1924

## У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

И. Бунину

По дюнам бродит день сутулый,  
Ныря в золото песка.  
Едва шуршат морские гулы,  
Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью,  
К береговому янтарию,  
Тем с большей нежностью и грустью  
России "здравствуй" говорю.

Там за рекой, все те же дюны,  
Такой-же бор к волнам сбежал,  
Всё те же древние Перуны  
Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется  
И тишина еще слышней,  
И на кронштадтский купол льется  
Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,  
В Россию чайка уплыла —  
И я крещу рукой безродной  
Пропавший след ее крыла.

1925

\* \* \*

И смеялось когда-то, и сладко  
Было жить, ни о чем не моля,  
И шептала мне сказки украдкой  
Наша старая няня – земля.

И любил я, и верил, и снами  
Несказанными жил наяву,  
И прозрачными плакал стихами  
В золотую от солнца траву...

Пьяный хам, нескончаемой тризной  
Затемнивший души моей синь,  
Будь ты проклят и ныне, и присно,  
И во веки веков, аминь!

1925

## CHANSON TRISTE

Маме

Жизнь ли бродяжья обидела,  
Вышел ли в злую пору...  
Если-б ты, мама, увидела,  
Как я озяб на ветру!  
Знаю, что скоро измочится  
Ливнем ночным у меня  
Стылая кровь, но ведь хочется,  
Все-таки хочется дня.  
Много не надо. Не вынести.  
И все равно не вернуть.  
Только бы в этой пустынности  
Вспомнить заветренный путь,  
Только-б прийти незамеченным  
В бледные сумерки, мать,  
Сердцем, совсем искалеченным,  
В пальцах твоих задрожать.  
Только-б глазами тяжелыми  
Тихо упасть на поля,  
Где золотистыми пчелами  
Жизнь прожужжала моя.  
Где тишина сероокая  
Мертвый баюкает дом...  
Если-б ты знала, далекая,  
Как я исхлестан дождем!

Петербург, 1922

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Брату Николаю

Тихо так. Пустынно. Звездно.  
Степь нахмуренная спит,  
Вся в снегах. В ночи морозной  
Где-то филин ворожит  
Над твоей святой могилой  
Я один, как страж стою...  
Спи, мой мальчик милый,  
Баюшки-баю!...

Я пришел из дымной дали,  
В день твой памятный принес  
Крест надгробный, что связали  
Мы тебе из крупных слез.  
На чужбине распростертый,  
Ты под ним — в родном краю...  
Спи, мой братик мертвый,  
Баюшки-баю...

В час, когда над миром будет  
Снова слышен Божий шаг,  
Бог про верных не забудет;  
Бог придет в ваш синий мрак,  
Скажет властно вам: Проснитесь!  
Уведет в семью Свою...  
Спи-ж, мой белый витязь,  
Баюшки-баю...

1922

# HEBO3BPATHOE

Даже в слове, в самом слове "невозвратное",  
 Полном девичьей слегка наивной нежности,  
 Есть какое-то необычайно внятное,  
 Тихо плачущее чувство безнадежности.

В нем, как странники в раскольниковей  
обители,  
Притаились обманувшиеся дни мои,  
Чью молитву так кощунственно обидели  
Новых верований дни неудержимые.

В ночь бессонную я сам себя баюкаю,  
Сам себе шепчу тихонько: "невозвратное"...  
И встает вдруг что-то с сладкой мукою  
Одному мне дорогое и понятное...

1922



\* \* \*

Придут другие. Они не вспомнят  
Ни боли нашей, ни потерь,  
В уюты наших девичьих комнат  
Толкнут испуганную дверь.  
Им будут чужды немые строки  
Наивных выцветших страниц,  
Обоев пыльных рисунок строгий,  
Безмолвный ряд забытых лиц.  
Иному Богу, иной невесте  
Моление будет свершено.  
И им не скажет никто: отвесьте  
Поклон умолкнувшим давно...  
Слепое время сотрет скрижали  
Годов безумных и минут,  
И в дряхлом кресле, где мы рыдали,  
Другие – песни запоют...

1923

\* \* \*

Все медленнее караваны  
На запад вышедших годов,  
Все тяжелей их груз нежданный,  
Все чаще на гребне песков  
Я в сердце вспыскиваю пряный  
Тягучий кокаиновый стих

О, капли звонкие отравы,  
О, певчие мои слова!  
Когда вас в выжженные травы  
Бросает сердца тетива, —  
Как ласков шум песчаной лавы,  
Какая в мире синева!

Оазис. Блещет над шатрами  
Звездами затканый шатер.  
Родник хрустальными губами  
Ведет о прошлом разговор  
С уставшими идти годами.  
Цветет под пальмами костер.  
Не потому-ль с недавних пор  
Я даже думаю стихами.

1922

## ИЗ НЕОКОНЧЕННЫХ СТИХОВ

\* \* \*

Когда судьба из наших жизней  
Пасьянс раскладывала зло,  
Меня в проигранной отчизне  
Глубоким солнцем замело.  
Из карт, стасованных сурово  
Для утомительной игры,  
Я рядом с девушкой трефовой  
Упал на крымские ковры.  
В те ночи северного горя  
Не знала южная земля  
Неповторимый запах моря,  
Апрельских звезд и миндаля.

\* \* \*

В тебе старинное очарованье  
Поет как памятный хорал,  
Когда тыходишь в дымный зал,  
Роняя медленно сиянье.  
Так ходят девушки святые  
На старых фресках. В темный пруд  
Так звезды падают. Плывут  
Так ночью лебеди немые.  
И сердце, бьющееся тише,  
Пугливей лоз прибрежных, ждет,  
Что над тобой опять сверкнет  
Прозрачный венчик в старой нише.

1927

CARTE POSTALE

Тихо в сосновом бору.  
Солнце горит в вышине.  
Золотом блещет песок...  
Милый, я скоро умру,  
Грудь моя вечно в огне,  
Вечно в крови мой платок...  
Холодно что-то... Пойду  
В дом... Не запачкать бы вновь  
Кровью балконных перил...  
Милый, я завтра уйду  
К Богу... Забудь эту кровь  
Так, как меня ты забыл.

1918

\*  
\*   \*   \*

Блажен познавший жизнь такую  
И не убивший жизнь в себе...  
Я так устал, тебя бывую  
Искать в теперешней тебе.

Прощай. Господь поможет сладить  
Мне с безутешной думой той,  
Что я был изгнан правды ради  
И краем отчим, и тобой.

На дни распятые не сетуй:  
И ты ведь бредила – распни!  
А я пойду искать по свету  
Лелеющих иные дни,

Взыскующих иного хлеба  
За ласки девичьи свои...  
Как это все таки нелепо –  
Быть Чацким в горе от любви!

Август 1927

\* \* \*

Мне больно жить. Играют в мяч  
Два голых мальчика на пляже.  
Усталый вечер скоро ляжет  
На пыльные балконы дач.  
Густым захлебываясь эхом,  
Поет сирена за окном...  
Я брежу о плече твоём  
О родинке под серым мехом...  
Скатился в чай закатный блик,  
Цветет в стакане. Из беседки  
Мне машут девушки-соседки  
Мохнатым веером гвоздик:  
"Поэт закатом недоволен?  
Иль болен, может быть, поэт?  
Не знаю, как сказать в ответ,  
Что я тобой смертельно болен!"

1925-26

## З В Е Н Я Щ А Я М Ы С Л Ь

Вот ты уснул. Тибет родной,  
Изрытый желтыми пустынями,  
Заголубел под снами синими.  
Ты спишь в шатре, и мир иной  
Тебя влечет: в немолчном шелесте,  
В снегу танцующие дни,  
Зигзаги улиц, гул, огни, —  
Такой исполненные прелести  
Для глаз доверчивых, — толпа  
Нестынувшая, непрестанная,  
И белых женщин ласка пряная  
И белой ночи ворожба...  
И ты, опять глазами сонными  
Увидев пыль, утесы, мох,  
Пред ликом Будды горький вздох  
Глушишь напрасными поклонами...  
Так мнится мне. И я с тоской,  
Тебе приснившийся ликующим  
По дням над безднами танцующим,  
Иду, ненужный и слепой.  
И каждый раз, когда обидю,  
Как струны, мысли зазвенят, —  
Тебе, пастух тибетских стад,  
Тебе мучительно завидую!  
Прийди. Возьми всю эту ложь  
Самовлюбленности упадочной.  
Ее не умной, ни загадочной  
Ты, разгадав, не назовешь.  
Прийди! Все блага, все, что знаем мы,  
Все, чем живем — я отдаю  
За детскость мудрую твою.  
За мир пустынь недосыгаемый,  
За песни девушек простых,  
Цветущих на полянах Азии  
За тихий плеск твоей фантазии  
И крики буйволов твоих...

\* \* \*

Я был рожден для тихой доли.  
Мне с детства нравилась игра  
Мечты блаженной. У костра  
В те золотые вечера  
Я часто бредил в синем поле,  
Где щедрый месяц до утра  
Бросал мне слитки серебра  
Сквозь облачные веера.

Над каждым сном, над пылью малой  
Глаза покорные клоня,  
Я все любил, – равно храня  
И траур мглы, и радость дня  
В душе мерцавшей небывало.  
И долго берегла меня  
От копий здешнего огня  
Неопалимая броня.

Но хлынул бунт. Не залив взора,  
Я устоял в крови. И вот  
Мне, пасечнику лунных сот,  
Дано вести погибшим счет  
И знать, что беспощадно скоро  
Вселенная, с былых высот  
Упав на черный эшафот,  
С ума безумного сойдет.

1925



## Б У Р Я

В парче из туч свинцовый гроб  
Над морем дрогнувшим пронесся.  
В парчу рассыпал звезды сноп  
Свои румяные колосья.  
Прибою кланялась сосна  
Девичьий стан сгибая низко.  
Шла в пенном кружеве волна,  
Как пляшущая одалиска.  
Прошелестел издалика,  
Ударил вихрь по скалам темным —  
Неудержимая рука  
Взмахнула веером огромным,  
И черную епатрахиль  
На гору бросив грозовую,  
Вдруг вспыхнул молнии фитиль,  
Взрывая россыпь дождевую...  
Так серые твои глаза  
Темнели в гневе и мерцали  
Сияньем терпким, как слеза  
На лезвии черненной стали.

1925-26

\*  
\*   \*   \*

В этом городе железа и огня,  
В этом городе задымленного дня,  
Жизнь, тяжелыми доспехами звеня,  
Оглушила злыми смехами меня.

Как мне жить среди одетых в камень душ,  
Мне – влюбленному в березовую глушь?  
Как найти в чаду гниющих луж  
Солнца южного живительную сушь?

Я принес из неразбуженной страны  
Капли рос с цветов ковыльной целины,  
Лепет лоз, лучи ленивые луны,  
Мельниц скрип в плену бессильной тишины...

Все обуглил этот город и обнес  
Сетью проволок и каменных полос.  
Как мне жить в пучине грозных гроз,  
Мне – влюбленному в безмолвие берез?!

Петербург, 1922

\* \* \*

Л.В. Соловьевой\*)

Птичка кроткая и нежная,  
Приголубь меня!  
Слышишь – скачет жизнь мятежная,  
Захлестав коня.  
Брызжут ветры под копытами,  
Грива – в злых дождях...  
Мне-ли пальцами разбитыми  
Сбросить цепкий страх?  
Слышишь – жизнь разбойным хохотом  
Режет тишь в ночи.  
Я к земле придавлен грохотом,  
А в земле – мечи.  
Все безумней жизнь мятежная,  
Ближе храп коня...  
Птичка кроткая и нежная,  
Приголубь меня!...

1923

---

\*) Соловьева – девичья фамилия Людмилы Владимировны Савиной-Сулимовской.

## К Р Е Щ Е Н И Е

Какая ранящая нега  
Была в любви твоей... была!  
Январьский день в меха из снега  
Крутые кутал купола.  
Над полем с ледяным амвоном —  
В амвоне плавала заря —  
Колокола кадили звоном,  
Как ладаном из хрусталя.  
Ты с нежностью неповторимой  
Мне жала руки каждый раз,  
Когда клубился ладан мимо,  
Хрусталь клубился мимо нас.  
Восторженно рыдал о Боге,  
Об Иоанне хор. Плыли  
По бриллиантовой дороге  
Звонящих троек корабли.  
Взрывая пыль над снежным мехом,  
Струили залпы сизый дым,  
И каждый раз стозвучным эхом  
Толпа рукоплескала им,  
И каждый раз рыдали в хоре,  
И вздрагивало каждый раз  
Слегка прищуренное море  
Твоих необычайных глаз...

1923

## Т Е Р Ц И Н Ы

Свистят ли змеи скудных толп:  
Увит ли бешенством ненастным  
Мечты александрийский столп, —

Покорный заповедям властным,  
Безумных грез безумный пах,  
Я путешествую в прекрасном.

Озера солнц и лунный пляж,  
И твердь земли связал мой посох  
Коврами небывалых прях.

Я свет зажег в подземных росах  
Я целовал девичий лик  
С цветным цветком в багряных косах.

Я слышал рыб свирельный крик,  
Я видел, как в очах вселенной  
Струился смутный мой двойник.

Все человеческое — тленно.  
Нетленна райская стрела  
Мечты, летящей песнопенно.

И пусть безкрылая хула  
Ведет безкрылых шагом властным! —  
Сияя заревом крыла,

Я путешествую в прекрасном,

1921

## ЗЕЛЕНый ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК \*)

Экспромт на предложенную  
"Орденом Поэтов" тему:  
"Зеленый шелковый платок".

Покорно умирали свечи,  
Когда вошла ты в Божий дом,  
Укутав зябнущие плечи  
Зеленым шелковым платком.  
Вошла. О кованные двери  
Так глухо звякнуло кольцо,  
Как будто сразу все потери  
В твое заглянули лицо.  
Был твой поклон безмолвно-низок  
И так мучительны мольбы,  
Как будто ад, горяч и близок,  
Всю душу вздернул на дыбы.  
И в книге слез пером незримым  
Отметил летописец Бог,  
Что навсегда забыт любимым  
Зеленый шелковый платок.

Хельсинки, Январь, 1924 г.

---

\*)В Хельсинки, в январе 1924 г. на собрании "Ордена поэтов", присутствовавшим было предложено написать за десять минут стихотворение-экспромт на тему - "Зеленый шелковый платок". Стихотворение Савина было признано лучшим. Публикуется впервые.



Портрет

**И В А Н А    С А В И Н А**

Работы художника Николая Сулимовского  
цветы и свеча

Литературно-музыкальный утренник  
памяти поэта в зале им. Рахманинова  
в Св. Серафимовском фонде, в Нью-Йорке,  
26 марта, 1972 года

# О Т К Л И К И

(Из статей и рецензий)

\* \* \*

Имя Савина — этого молодого поэта, талант которого окреп и определился уже за годы изгнания, обращает на себя последнее время все больше и больше внимания.

На его стихах несомненно лежит печать подлинного поэтического дарования и чувства ритма. Со стороны изящества и своеобразия формы, стихи И. Савина в большинстве случаев являются не только достаточно выпуклыми, но и носящими на себе следы яркой индивидуальности. Во второй части поэта не покидает свойственное ему чувство той "деликатности" и тонкого понимания правды, которая всегда является признаком хорошего вкуса и показателем силы дарования, не нуждающегося в сильных приемах вынужденного пафоса.

В общем книжка стихов Савина по ценности содержания и изяществу формы стихов несомненно заслуживает особого внимания.

К. С-г. "Слово", Рига, 1926 г.

\* \* \*

Савин был писатель с ярко развертывавшимся дарованием. Литературная работа только начиналась. Художественная зрелость чаще всего наливается исподволь с возрастом. Творчество предполагает сосредоточие и спокойствие... Все же он успел оставить после себя стихи и прозу, не из чужих книг, не из незрелой фантазии почерпнутые, а своеобразно запечатлевшие наше сложное



время. Он был Белым офицером в поэзии и поэтом "Белой мечты" в деятельности. У него были обширные отношения. Из гельсингфоргского отдаления он излучал на русское зарубежье в различных направлениях, тепло своего непрестанного внутреннего горения...

Н.Ч. (Чебышев)

Париж, 12 июля 1927 г.

### НАШ ПОЭТ

После долгой и тяжелой болезни скончался в Гельсингфорсе молодой поэт и Белый воин - Иван Савин"...

И вот еще раз вспомнил я его потрясающие слова, и холод жуткого восторга прошел по моей голове и глаза затуманились страшными и сладостными слезами:

"Всех убиенных помяни, Россия, когда приидеши во царствие Твое".

Этот священный, великий, будет, будет и лик Белого воина, будет и Богом и Россией сопричислен к лику Святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина, займет одно из самых высоких мест...

То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе: во-первых по причине полной своеобразности его и их пафоса и, во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строки - особенно.

Иван Бунин  
"Возрождение" № 793,  
Париж, Июль 1927 г.

\*  
\*   \*  
\*

Какая "художественная поэзия" не при-  
молкнет в смущении и испуге, слышав  
рядом раздирающие душу стихотворные воп-  
ли Ивана Савина - (как рано и при-  
скорбно потеряли мы этого талантливое  
финно-русса, типического славочудина  
старой московской веры!) - надмогильные  
вопли брата над зверски расстрелянными  
братьями, над оскорбленными и унижен-  
ными сестрами? Да, во всей русской  
поэзии нет более страшных, острее впи-  
вающихся в сердце, стихов, чем несклад-  
ные, спотыкающиеся пять строф: "Михаилу  
и Павлу, братьям моим": - "Ты кровь их со-  
берешь по капле, Мама," с заключительным  
молитвенным стоном - Всех убиенных  
помяни, Россия!...

Иван Савин не был галлиполиейцем по  
месту отбывания своей эмигрантской стра-  
ды, но проф. Деватц совершенно справед-  
ливо утверждает: "Сборник этот, не  
говоря ни одного слова о Галлиполи, по-  
полнит нашу "галлиполийскую литературу".

А.В. Амфитеатров  
"Галлиполиец", Париж,  
Август, 1927 г.

\*  
\*   \*  
\*

Есть у Савина и нечеткости, но тем  
не менее, есть у него и стихи мощные,  
красивые (Корнилову), или о "мареве бе-  
женства хилого", или о том, что "полмира  
по миру пошлют", звучные и волнующие  
стихи о русском рассеянии "Законы тьмы  
неумолимы / непререкаем хор судеб/ всё  
те-же дымы, всё тот-же выпланный

хлеб" или "Я выйду к морю полночь встретить," или брату Борису: "Поет ковыль... целую лоб твой искалеченный." И молитва последняя расстрелянных: "Всех убиенных помяни Россия."

Юрий Айхенвальд  
"Руль", Берлин, 1927 г.

\* \* \*

Его милая, нежная душа, его горячая любовь к России, литературная даровитость, живая трудоспособность, его страдания и тихая смерть дали ему право на нашу память о нем. Савин отличался способностью к музыке, рисованию, театральному искусству, сам режиссировал и играл в своих пьесах "Молодость" и "Там". Любопытная подробность: Иван Савин заикался... Но как только он становился на подмостки, или просто читал стихи, его речь лилась совсем плавно.

Савин был лирик в душе, грустным певцом, вдохновленным болью своего сердца, трогательная черта его души. Самой близкой, родной областью для него была поэзия. Он жил в поэзии, любил поэзию что не мешало ему готовить целый роман из пушкинской эпохи, изучая ее, часами сидел в Гельсингфорской университетской библиотеке. И сам взволнованно писал стихи, иногда захваченный всего одной промелькнувшей в слухе фразой. Так и осталась одна такая фраза, одиноко записанная на клочке бумаги:

"Произведенный смертью в подпоручика  
Лейб-гвардии Господнего полка."

Он был сам воителем во имя Господней правды, искренне и инстинктивно ненавидел зло и насилие. Полная отчужденность

от современности и ее причуд... Его влекла живописная Индия, Египет, но русский по духу, он нес в своей душе также мечтательную идиллию о затишьи глухих уездных углов, о маленьких городках с ровной успокоенной жизнью без дум и тревог.

Верный и преданный романтик, он отдал свои симпатии красивой старине, — ее кринолинам, седым парикам, ее галантным танцам, — гавоту и менуэту.

Петр Пильский  
"Сегодня", Рига, 1927 г.

\* \* \*

Всё уходит. И что всего трагичнее, уходит всё смелое, благородное и красивое, с чем крепкими узами были связаны наши надежды, наше оправдание, цель и счастье, кто был вехами на большой русской дороге, замеченной снегами, кто шел впереди всех и подобно легендарному Данко, нес высоко пылающее сердце и сердцем этим как факелом освещал наш путь. Изгнание давило наши души. Отчаяние гнало многих унизиться и преклониться перед теми, кто схватил за горло нашу душу. Но, вот, среди нас, светлыми гениями появились люди несокрушимой энергии с пылающим сердцем, и вечно бодрым словом они рассеивали наше отчаяние и звали вперед. Их много было хороших, талантливых, смелых. Имена их знает Бог.

И, недавно, в Гельсингфорсе, после мучительной болезни, ушел в голубые поляны рая, молодой, одаренный необыкновенным поэтическим даром, большой патриот и печальник за всех умученных в застенках, И.И. Савин.

На всем лежит печать ухода, но призыв их, мысль и пути они нам оставили. Не забывайте тех, кто продолжает еще стоять на страже русских интересов и зовет нас к человечности, к свету, к России.

Василий Волгин  
"Нарвский листок", Нарва, 1927 г.

\*

\* \* \*

Из главы: — "МЛАДШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Особняком среди молодых зарубежных поэтов стоял рано скончавшийся (в 1927 г.) в Гельсингфорсе ИВАН САВИН (Саволайнен). Вспоминая о нем по случаю 25-летия со дня его смерти, Ю. Терапиано писал в нью-йоркском "Новом русском слове":

Савин принадлежал к тому поколению, которое в юности пошло в Добровольческую Армию... Подобно десяткам тысяч своих сверстников, Савин прошел через все ужасы гражданской войны, пережил крушение "белой мечты" и начал свою новую жизнь за границей, в Финляндии, работая на сахарном заводе. ("Памяти поэта", "Новое русское слово", 13-VII-1952).

Савин попал в Финляндию не прямо из Добровольческой Армии. Во время крымского отступления он заболел тифом и был захвачен в плен в Джанкое. Ему удалось доказать, что он не был офицером, и он был освобожден. Он добрался до Петербурга, где встретился с отцом и прожил довольно долго, пока им не удалось получить разрешение на выезд в Финляндию как финляндским уроженцам. В 1926 г., вышла первая (и единственная) книжка стихов Савина "Ладанка", которую издало Общество Галлиполийцев (до того стихи

Савина печатались в различных журналах и газетах),

Религиозность, любовь к России и вера в нее и верность "белой мечте", звучавшие как основные мотивы в этой скромной книжечке, стяжали Савину популярность в кругах, все еще преданных Белой идее. Но в стихах Савина не было ничего надуманно-тенденциозного, никакой пропаганды. У него был свой, приглушенный, но подлинно-поэтический голос. Вот характерные строки из одного его стихотворения о России:

Граница. И чем ближе к устью,  
К береговому янтарию,  
Тем с большей нежностью и грустью  
России "здравствуй" говорю.

Там, за рекой, все те же дюны,  
Такой же бор к волнам сбежал,  
Все те же древние Перуны  
Выходят, мнится, из-за скал...

В этих стихах никакой сусальности, никаких фанфар. Что-то от "белогвардейского" Есенина, но что-то и от финляндских стихов Баратынского (кстати, по словам Терапиано, Савин особенно интересовался пушкинской эпохой и "боготворил Пушкина"). Но иногда в стихах Савина звучали и более "высокие" ноты, и тогда он напоминал военные стихи Гумилева скорее, чем Есенина.

(Далее Г. Струве цитирует три строфы из стихотворения "Оттого высоки наши плечи...", которое полностью вошло в этот сборник. Примечание - Р.П.)

Глеб Струве  
"Русская литература  
в изгнании," Нью-Йорк, 1956 г.

## ИВАН САВИН

Какая странная судьба русских поэтов, какой рок навис над ними... Самый "старый" из них - Пушкин, был убит в 38 лет, Лермонтов - 27-ми, Надсона неумолимая болезнь унесла, когда ему еще не было 26-ти, а Гумилев был расстрелян большевиками в 35 лет.

Ныне исполняется 30-летие со дня смерти их младшего брата - "белого" поэта Ивана Савина. Однолесток Лермонтова, он скончался на 28 году жизни...

Его не знают широко. Жестокая судьба послала его в русскую жизнь в самые роковые годы лихолетья, в красную завируху, которая снесла все устои нашей культуры; и надо сказать, что на его долю выпали все муки.

Ксения Деникина  
"Новое русское слово"  
Нью-Йорк, 1957 г.

## ЛАДОНКА

В ритме каждой эпохи есть злободневное, современное и вечное. Только то искусство, которое преодолест соблазн злободневности, но сохранит до конца верность своему времени - имеет право на вечность. Разумеется, речь идет не об оправдании современности. Художник может и осуждать и прославлять свой век. Но ни оправдание, ни осуждение не служат в искусстве мерилем приверженности к своему времени. Искусство присягает на верность своему времени, кровоточит его ранами, мучится

его злом и светится его победами, — эмигрировать из своего времени искусству некуда. Возможен уход в историю или фантастику. Но это только внешний уход. На проверку — это прошлое или вымысел, увиденные по-современному.

Гражданская поэзия, — может быть, самый рискованный жанр в искусстве. Здесь злободневность и современность так переплетены, что их трудно отделить друг от друга. Этим объясняется то, что так часто стихи, написанные на гражданские темы не выдерживают испытания временем. В свою очередь, это дает повод многим присяжным критикам, чаще всего из неудавшихся литераторов, со снобическим пренебрежением относиться к гражданской поэзии и призывать к полутонам и разговору шопотом. Думается, повод поводом, а причина причиной: безголосым ничего другого не остается, как выдавать манерный шопот за философию искусства.

Русская гражданская поэзия знает блестящие удачи. "Ладонка" — сборник стихов Ивана Савина — одна из таких удач. Иван Савин, финн по рождению (его настоящая фамилия Саволайнен), двадцатилетним юношей в 1919 году ушел в Добровольческую армию. Заболев тифом во время крымской эвакуации, он был схвачен красными, прошел мучительный плен, чудом уцелел и выбрался в 1922 году в Финляндию. Но здоровье Савина было уже надорвано всем пережитым и он преждевременно скончался 27 лет от роду. Его поэтическое наследство невелико. Лучшее, что им написано — гражданские



стихи, полные героического пафоса верности России и Белой армии. В этой основной теме лирическо-сокровенной нотой сквозь стихи Ивана Савина проходит плач по близким, — братьям и сестрам, погибшим в годы гражданской войны. Вот одно из этих стихотворений, потрясшее в свое время Бунина. Привожу его полностью.

(Автор статьи цитирует стихотворение, посвященное братьям Михаилу и Павлу — "Ты кровь их сбережешь...", которое полностью вошло в этот сборник. — Примечание Р.П.)

Эти стихи — торопливый рассказ, полный жутких подробностей, от которых можно захлебнуться слезами и почувствовать приближение обморока. Ритм этих стихов — ритм походки выведенных на расстрел, шатающихся от слабости и от непривычного, после тюрьмы, свежего воздуха.

Ритмическая неровность некоторых строк, их отрывистость придает стихотворению взволнованность свидетельского показания. Иван Савин — свидетельствует о своем страшном и героическом времени, и его поэзия — поэзия высоких обид и высокого гнева.

Этот высокий гнев у Ивана Савина сочетался с высокой жертвенностью. Умереть за Россию, за ее честь — к этому призывала его поэзия. В одном из лучших своих стихотворений — "Первый бой" он писал:

...Зевнули орудия, руша  
Мосты трехдюймовым дождем.  
Я крикнул товарищу: "Слушай,  
Давай за Россию умрем".

В седле подымаясь как знамя,  
Он просто ответил: "Умру".  
Лилось пулеметное пламя,  
Посвистывая на ветру...

Эта жертвенность была предельной потому, что только вера в правоту своего дела руководила ею. Тщетность и обреченность подвига, неблагодарность истории с ее циничным припевом – "победителей не судят" – все это Иван Савин чувствовал остро и выразил с предельной сжатостью, ему свойственной:

...И крови нашей страшный грунт,  
Засеяв ложью, шут нарядный  
Увьет цветами – русский бунт  
Бессмысленный и беспощадный...

В эмиграции было написано сотни стихов, если не тысячи, на тему, которой касаться страшно, – я говорю о ностальгии. Касаться этой темы страшно не только потому, что тема эта – ране подобна, но и потому, что по какому-то дьявольскому наваждению прикосновение к этой теме толкает в сентиментальность, подменяя ею живое чувство. И тут Иван Савин нашел свои глубоко поэтические живые слова:

Черкнув крылом по глади водной,  
В Россию чайка уплыла –  
И я крещу рукой безродной  
Пропавший след ее крыла.

К сожалению не все в книге ровно. Первое издание "Ладонки", вышедшее в Белграде в 1926 году, производило более сильное впечатление, так как был сделан строгий отбор и в книгу попали только зрелые, сильные стихотворения. Вполне понятно стремление издателей собрать и выпустить в свет все стихи покойного поэта. Но сделано это неумело. Следовало бы, перепечатав первое издание, внести дополнительный отдел в книгу, куда поместить эти юношеские и часто слабые стихи, чтобы они не разбивали впечатление.

В коротком обзоре принято говорить о главном, но помимо главного - гражданской струи - в стихах Ивана Савина запечатлены пленительные пейзажи и есть незабываемые строки о любви и разлуке.

Иван Елагин  
"Новое русское слово",  
Нью Йорк, 15 февраля 1959 г.

---

Иван Савин. "Ладонка", книга лирики. Издание "Переклички", военно - политического журнала Общества Галлиполийцев. Нью-Йорк, 1958.

## ПАМЯТИ ИВАНА САВИНА

26 марта в Рахманинском зале Свято-Серафимовского фонда состоялось собрание посвященное памяти поэта Ивана Савина (Саволайнена), в связи с 45-летием его кончины.

В этот день Рахманиновский зал был полон, пришлось устанавливать дополнительные стулья. Л.В. Сулимовская, вдова поэта, до слез растрогала аудиторию воспоминаниями о Савине.

В.К. Завалишин в своем докладе отметил заслуги проф. Г.П. Струве, автора книги "Русская литература в изгнании", в деле оценки художественных достоинств поэзии Савина.

Докладчик доказывал далее, что творчество Савина поверх каких бы то ни было, — белых или красных, пропагандных и политических барьеров. Даже Белое движение Савин оценивал, скорее исходя из общечеловеческих чувств, нежели из собственных политических симпатий и антипатий. Вот почему неприятие Савиным партийно-большевицкого террора и насилия так действует на читателя, и именно поэтому его поэзия выдержала испытание времени.

Есть классовый геноцид Ленина-Сталина, столь же омерзительный, как и расовый геноцид Гитлера. В поэзии Савина есть протест против геноцида, протест против бесчеловечности классовой ненависти. Но, настаивал В. К. Завалишин, Савин, прежде всего, поэт и его творчество не замыкается в тематические рамки гражданской войны.

Как поэт Савин открыл романтикой символиста Блока эмоциональный физиоло-

гизм Бунина. Мы знаем, что Савин высоко ценил Бунина и не расставался с томиком Блока, где сухие ромашки "стерегли" наиболее памятные страницы. Достоинством поэзии Савина докладчик считает полнейшее отсутствие в ней книжного литературничанья.

В конце доклада В.К. Завалишин указал на то, что Иван Савин не только подлинный поэт, но и выдающийся прозаик.

В зале, где состоялась встреча, был хороший портрет Ивана Савина, написанный художником Николаем Сулимовским, а перед портретом стояли большая белая свеча и букет полевых ромашек, столь любимых поэтом.

Большое впечатление произвело чтение стихотворений поэта. С чтением выступили: Ольга Анстей, Ричард Янин, Нонна Белавина. В.К. Завалишин прочел стихотворение Савина, написанное в духе скандинавского поэта Иозефсена. Л. Сулимовская прочитала отличный прозаический этюд Ивана Савина "Пароль".

Большому успеху собрания помогла музыкальная часть программы. Ирина Гончарова исполнила "Скерцо" Шоппена и этюд Скрябина. Надя Аплечеева с подъемом спела "Девушка пела в церковном хоре" (на слова Блока) и другие песни, соответствовавшие духу и настроению собрания.

Н.Н.

"Новое русское слово," Нью-Йорк,  
30 Марта 1972 г.

### ПОЭЗИЯ ИВАНА САВИНА

Главное в том, что Иван Савин принадлежит к числу крайне немногих русских зарубежных поэтов поколения конца гражданской войны, чье творчество выдержало

**испытание временем и сохранится надолго..**

**В.К. Завалишин, Передача в СССР по  
"Радио Свобода" с 15 на 16 апреля 1972 г.**

**\* \* \***

**М. Волошин, Клюев и другие "старшие"  
поэты открыли вновь двери "гражданско-  
му протесту в стихах". Участник Граж-  
данской войны, Иван Савин тоже не мог  
остаться чистым лириком и во многих его  
стихотворениях "зазвучала" гражданст-  
венность, которая вполне соответствовала  
настроению его читателей, ценивших его  
именно за это, как "своего поэта."**

**В 1923 году многие читатели могли  
считать повестью о них следующие стихи  
Савина:**

**"Кто украл мою молодость, даже  
Не оставив следов у дверей?"**

**Конечно, Иван Савин скончался рано,  
не успев по-настоящему раскрыть себя,  
но память об одном из самых ранних по-  
этов эмиграции мы должны сохранить для  
будущего.**

**Юрий Терапиано**

**"Русская мысль", Париж, 17 октября 1974 г**

## **К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПОЭТА ИВАНА САВИНА**

**"Всех убиенных помяни, Россия,  
Когда придеши во царствие твое!"**

**Придет или не придет тот день, о ко-  
тором мечтали Бунин и Савин, а нам,  
русским эмигрантам, память об одном из  
воинов Белой армии и безвременно ушед-  
шем от нас поэте, надо свято хранить.  
Только помня тех, кто любя родину, готов  
был положить душу свою за нее - а таким  
был поэт Савин, - мы можем еще надеяться,  
что День тот все-таки придет.**

**С. Кенук**

**"Новое русское слово", Нью-Йорк,  
13 июля, 1977 г.**

## ПАМЯТИ ИВАНА САВИНА

За 50 лет о Савине сказано очень мало, причем во всех статьях главной темой была его "гражданственность"... И действительно, какой горькой правдой звучат слова: "Кто украл мою молодость, даже не оставив следов у дверей?". Хочется просто сказать: "Бедный мальчик! Сколько ужаса и горя пережил он за свою короткую жизнь". Но все это сконцентрировалось в душе и с необычайной силой вылилось в потрясающие стихи. Не могу найти лучшего выражения, чем Бунинское: "холод жуткого восторга". Именно это чувство заставляет прерывать чтение стихов, чтобы не задохнуться...

Вероятно стихи Савина о страшных годах войны следует отнести к так называемой "гражданской" поэзии, но мне кажется это не совсем правильным. На первом месте в каждом из этих стихотворений есть простое человеческое переживание, отклик души на то, что происходит, причем отклик глубокий и искренний. Потому эти стихи и не потеряли силы. Они общечеловечны и не растворяются во времени. И, по-моему, мнение Бунина, что Савин прежде всего воин, а потом поэт, опровергают такие строки: "Смерть хлестала кровью и смехом/ Каждый шаг наш. А я на коне/ Набегая, как хрупкая шлюпка,/ На девятый, на гибельный вал/ К голубому слову - голубка/ В черном грохоте рифму искал".

Нет, Савин прежде всего был поэт. Совсем современно звучит стихотворение:

В этом городе железа и огня,  
В этом городе задымленного дня,  
Жизнь тяжелыми доспехами звеня,  
Оглушила злыми смехами меня.  
Как мне жить среди одетых в камень душ,  
Мне, влюбленному в березовую глушь?

Я же только хотела напомнить истинным любителям настоящей поэзии о горькой потере - преждевременной смерти настоящего большого поэта.

Нонна Белавина

"Новое русское слово", Нью-Йорк,  
23 июля 1977 г.

### ПЕВЕЦ В СТАНЕ БЕЛЫХ ВОИНОВ

(К 50-летию кончины воина-поэта  
Ивана Савина)

Всех убиенных помяни Россия,  
Егда приидеши во царствие Твое...

Полстолетия назад, в день свв. Петра и Павла, в далекой Финляндии, нежданно погасла одна из тех белых свечей, которые ярким пламенем загорелись перед "нерукотворным образом России" в годовщину ее революционного лихолетия. В физических мученьях оборвалась 27-летняя, в муках душевных прожитая ("Мне больно жить") жизнь воина-поэта Ивана Савина.

Ровно столетие отделяло его лермонтовское краткое житие от первоисточника поэтического вдохновения - великого Пушкина. Тоже - огонь, конечно, не такой блистательный, но все же особый - с белым пламенем, всеполюющий своей трагической обреченностью...

Н. Протопопов

"Наши вести" № 365

Монтерей, США, Июль-август, 1977 г.



## МЕЧТА О СВОБОДНОЙ РОССИИ

60 лет тому назад, 12 июля 1927 года в Хельсинки, от заражения крови в возрасте 28 лет скончался выдающийся русский эмигрант поэт Иван Иванович Саволайнен, писавший под псевдонимом Иван Савин.

У матери Ивана Савина было пятеро детей от первого брака и трое от второго: Иван, Николай и Надежда. В боях с большевиками и в годы красного террора погибла вся семья, кроме Ивана Ивановича — отца и сына Ивана.

Старшие братья Михаил и Павел были расстреляны красными. Иван узнал об этом в плену. Юрий Терапиано в своем очерке о Савине пишет: "Часовой ЧКа, чувствовавший симпатию к Савину, показал ему как-то два бумажника, взятых им с расстрелянных офицеров, с бумагами и фотографиями. Это были бумажники двух его братьев, артиллеристов, и Савину стоило нечеловеческих усилий воли, чтобы не выдать себя."

Братьям Иван Савин посвятил стихотворение — "Ты кровь их соберешь по капле, мама", которое и сейчас, 70 лет спустя, нельзя читать без глубокого волнения...

Другое стихотворение посвящено сестрам Нине и Надежде:

Одна догорела в Каире,  
Другая — на русских полях,  
Как много пылающих плах  
В бездомном воздвигнуто мире.

Сделаю маленькое пояснение. Сестра Нина была эвакуирована в начале 1920 года англичанами в Египет. Туда брали в первую очередь больных и раненых. Все мы (я тоже был с мамой и бабушкой в Египте) считались "гостями английского короля".

Братья Борис и Николай погибли в боях. Младшему, Синему кирасиру, было всего 15 лет, когда его сразила шальная пуля. Ему посвящено стихотворение - "Мальчик кудрявый"...

Иван Савин беззаветно любил Россию. В одном стихотворении он назвал себя "Иваном, не помнящим родства". Ничего плохого он в этом не видел, наоборот, он считал себя русским в широком смысле этого слова, несмотря на все примеси крови других народов. Свою любовь к России он выразил в том же стихотворении словами:

Ты-ли, Русь,  
                    бессмертная мертва?  
Нам-ли сгинуть  
                    в чужеземном море!?

Выражения "Иван, не помнящий родства" и "сгинуть в чужеземном море" навсегда вошли в лексикон белой эмиграции...

Другое стихотворение Ивана Савина кончалось словами:

Я походные песни, как свечи,  
Перед ликом России зажгу.

После этого наши песни у разведческих костров и в походах получили иной, более глубокий смысл. Для нас, 15-17-летних ребят, разведчество перестало

быть развлечением, а стало осмысленным служением России.

Свое первое стихотворение Иван Савин написал, когда ему было 11 лет. Его первую статью напечатала губернская газета, когда ему было 15 лет. Там же публиковались и другие его рассказы и стихи. Вырвавшись из плена, еще будучи в Петрограде, Иван Савин продолжал писать стихи, конечно, для себя, а не для советских газет...

Вдова Ивана Савина Людмила Владимировна Сулимовская так описывает его появление в Хельсинки: "Придя немного в себя после всех мытарств, Савин стал членом русской колонии, председателем кружка молодежи. На очередной вечеринке мы встретились. Высокий brunet, небольшие мягкие глаза под густыми бровями. Во всей его фигуре была необычайная элегантность".

21 ноября 1924 года они поженились. Три последних года жизни Ивана Савина, были целиком посвящены литературному труду.

Юрий Терапиано пишет: "Иван Савин хорошо рисовал, был очень музыкален и прекрасно играл на рояле. Но главным своим делом он считал поэзию.

Его стихи полны мысли о России, о ее настоящем призвании — быть оплотом духовности и правды в мире, и негодования по поводу временной победы злых сил, олицетворявшихся в коммунизме".

Иван Савин прожил короткую, но яркую жизнь, оставив глубокий след в русской поэзии.

Р. Полчанинов  
"Новое русское слово",  
Нью Йорк, 12 июля 1987 г.

**С Т И Х И**  
**п о с в я щ е н н ы е**  
**И В А Н У      С А В И Н У**

**ПАМЯТИ И. САВИНА**

Наш белый друг, поэт и безупречный воин,  
Ты четверть века спишь под кротким взором  
звезд.

Не принести венка... (какой тебя достоин!)  
И через океан не перебросить мост,  
Туда, где над тобой с надрывом плачут выюги  
И причитает финская пурга —  
Последние и верные подруги,  
Которые дала тебе судьба.  
Но дороги твои замученные песни  
Всем тем, кто знал тебя — и кто тебя не  
знал.

Мы просим у Христа напрасное "воскресни!"  
Как много ты еще не досказал!  
Наш белый друг, ты — символ нашей Веры  
И нашей юности, распятой поутру.  
Мы все еще влачим проклятые галеры  
На жизненном, на ледяном ветру:  
Но ты, наш белый друг, ты — дома, за  
порогом!

Молитвой братскою Христа за нас моли...  
Пред памятью твоей, благословенной Богом  
Знамена нежности склоняем до земли!...

В. Майк  
"Россия", Нью-Йорк, 13 июля 1950

## ИВАНУ САВИНУ

Он во сне и наяву все слышал  
Звон вечерний, колокольный звон.  
Он все видел, будто в поле вышел,  
А над полем куравлиный стон.  
Этот дар любви ему от Бога:  
В верном сердце острая печаль...

Умер он у вражьего порога,  
С тихим взором, устремленным в даль.

Александр Дехтеров  
Шумен, Болгария

## ПАМЯТИ ИВАНА САВИНА

Как хорошо, коль остается след  
От чьей-то жизни на планете...  
Вот был когда-то молодой поэт,  
Но он недолго жил на свете.

И больно, что судьба, безмерно зла,  
Его ни в чем не пощадила,  
И сединою на душу легла,  
И рано унесла в могилу.

Но жизнь его навеки назвала:  
"Идеи Белой верный рыцарь."  
А все его и мысли и дела  
Легли стихами на страницы.

И в этих мудрых горестных стихах -  
Любовь бездонная к Отчизне...

Как странно: я держу сейчас в руках  
Кусочек той ушедшей жизни.

Я вся - во власти непонятных чар,  
И грусть в душе моей безмерна -  
- Серебряный поэт портсигар  
И надпись: "Верному от верных"...

Нонна Белавина  
Нью-Йорк, США, Июль 1987 г.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

К читателям - Л.В. Савина-Сулимовская....	5
Предисловие - Р.В. Полчанинов.....	15
Проза Ивана Савина	
Плен.....	19
Правда о 7.000 расстрелянных.....	59
Дроль.....	65
Пароль.....	75
В мертвом доме.....	85
Трое.....	99
Там.....	105
Трилистник.....	111
Новые годы.....	119
Моему внуку.....	127
О мещанстве.....	133
Лимонадная будка.....	137
Валаам - Святой остров.....	147
Валаамские скиты.....	151
"Ладонка" - предисловие В. Даватца к 1-му изданию.....	161
Из стихов 1-го издания	
"Я - Иван, непомнящий родства...".....	167
"Оттого высоки наши плечи...".....	168
Корнилову.....	169
Возмездие.....	170
"Все это было. Путь один...".....	171
России.....	172
"Кто украл мою молодость, даже...".....	173
"Законы тьмы неумолимы...".....	174
Брату Борису - "Не бойся, милый. Это я...".....	175
Брату Николаю - "Мальчик кудрявый смеется лукаво..."...	176
Братьям моим Михаилу и Павлу - "Ты кровь их соберешь по капле, мама"	177
"Помните? Хаты да пашни...".....	178
"Когда палящий день остынет...".....	179
На Сайме.....	180
Ревность.....	181
Закат.....	182

Из стихов 3-го издания	
"Огневыми цветами осыпали..."	185
"Это было в прошлом на юге..."	186
У последней черты - И. Бунину	187
"И смеялось когда-то, и сладко..."	188
Chanson triste - Маме	189
Колыбельная - Брату Николаю	190
Невозвратное	191
"Придут другие. Они не вспомнят..."	192
"Все медленнее караваны..."	193
Из неоконченных стихов	194
Carte postale	195
"Блажен познавший жизнь такую..."	196
"Мне больно жить. Играют в мяч..."	197
Звенящая мысль	198
"Я был рожден для тихой доли..."	199
Буря	200
"Птичка кроткая и нежная..."	
- Л.В. Соловьевой	202
Крещение	203
Терцины	204
Зеленый шелковый платок	205
Отклики (из статей и рецензий)	207
Стихи посвященные Ивану Савину	
Памяти И. Савина - В. Майк	227
Ивану Савину - А. Дехтеров	228
Памяти Ивана Савина - Н. Белавина	228

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

Иван Савин, май 1927 г.	3
У Репина на веранде, лето 1926 г.	12
Иван Савин	14
Иван Савин	158
"Ладонка" - обложка 1-го издания, 1926 г.	159
"Ладонка" - авторский проект обложки, 1925 г.	160
Виньетка работы Л. Ковалевской, 1926 г.	166
"Ладонка" - обложка 3-го издания, 1958 г.	183
Виньетка работы Л. Ковалевской, 1926 г.	184
Иван Савин - портрет работы Н. Сулимовского, 1972 г.	206